

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак

Предисловие

В одну из своих ранних поэтических книг, «Темы и вариации» (1923), классик русской литературы XX века Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) включил стихотворение «Так начинают. Года в два...»:

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе...
Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья...
Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.
Так в ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком.
Так затевают ссоры с солнцем.
Так начинают жить стихом.

Когда создавались эти стихи, Пастернак давно уже закончил работу над повестью «Детство Люверс» (1918), рассказывающей о взрослении девочки Жени, нервных изломах ее детского мира, о первом пробуждении в ней «маленькой женщины». А до создания автобиографической прозы «Охранная грамота» (1930) и тем более продолжающего ее очерка «Люди и положения» (1957) было еще далеко. И все равно стихотворение предсказало грядущее родство этих очень разных произведений – рассказа о девочке с первых лет ее жизни до внезапного трагического повзросления и повествования о поэте – также с младенчества до трагически-просветляющего кризиса в творчестве. Ибо в нем найдены единственно верные и, при всей их сложности, простые слова для глубинной философии детства, устремленного во взрослый творческий мир, и поэтического творчества, укорененного в детстве. После этого стихотворения уже не кажутся неожиданными прямые сюжетные переклички между вымышленной повестью и автобиографической прозой, у их героев есть общий «знаменатель» – обостренное чувство тайны, мучительное ощущение «страшной красоты» мира, причастность «тьме мелодий», из которой рождаются слова. Между девочкой и поэтом, «гением и красавицей» (говоря рыцарственным языком самого Пастернака) здесь стоит знак равенства.

Недаром «Детство Люверс» открывается эпизодом, который почти слово в слово повторяет первую строфу стихотворения. Внезапно проснувшаяся Женя с ужасом чувствует: «...нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу... у того не было названия... Женя расплакалась... Объяснение отца было коротко:

– Это – Мотовилиха...

...Только это ведь и требовалось: узнать, как зовут непонятное, – Мотовилиха». Слово, явившееся крошечной Жене «о третьем годе», что-то очень важное меняет в ее жизни: «В то утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью...» И точно таким же эпизодом открывается очерк «Люди и положения»: Пастернак вспоминает, как в гости к его отцу, будущему академику живописи Л. О. Пастернаку, в 1894 году – также «о третьем годе»! – приехал Лев Толстой и состоялся домашний концерт, в котором приняла участие мать будущего поэта, Р. И. Кауфман. Посреди ночи, вспоминает Пастернак, «я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной... Эта ночь межвоею вехой пролегла между беспомощностью младенчества и моим дальнейшим детством». Полное родство ощущений! Ибо «нормальное» творчество, по Пастернаку, должно питаться запасами детской открытости «тьме мелодий», а «нормальное» детство должно тянуться во взрослый мир, как тянется к солнцу росток.

Но ни то ни другое не дается просто так, само собою. Нетрудно заметить, что настроение в «Так начинают. Года в два...» – тревожно, что обычной безмятежности и

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
умиленной идиличности интонации, с которой принято говорить о детях, здесь нет и в помине. Напротив – таинственная мука, ночная атмосфера, «тьма мелодий» переполняют стихотворение. Точно так же и повести о девочке Жене и поэте Пастернаке отнюдь не радужны: ребенок и художник живут в «страдательном залоге» и драматические «кривые» их судеб практически совпадают. И он, и она – все время в борении с собой, все время на переломе, в состоянии перехода от одного призвания к другому.

Как было сказано, мы встречаемся с Женей Люверс в миг, когда она из младенца превращается в девочку. Затем вместе с ней переживаем процесс «прорастания» в девичество. А расстаемся именно тогда, когда она, пережив горечь двух утрат, вдруг ощущает себя взрослой девушкой, «маленькой женщиной», – и детство навсегда покидает ее.

Рассказ о себе и своем поколении Пастернак в «Охранной грамоте» и «Людах и положениях» тоже начинает с эпизода, открывающего в его младенческом сознании новое измерение, – со встречи со Львом Толстым. Кульминационное ударение сюжета делает на истории своего внезапного разрыва с мечтой всей молодости, философией и разрыва с прежней любовью. А завершает прощанием с Маяковским, другом и оппонентом.

Сплошная цепь утрат – и там и тут, причем самого дорогого, а иначе что бы это были за утраты.

Вторая часть «Детства Люверс» – «Посторонний» – посвящена странной встрече Жени с прихрамывающим незнакомцем, «посторонним». Она случайно замечает его в соседском саду, потом столь же случайно сталкивается с ним в книжной лавке и, сама не зная почему, выделяет его из толпы, начинает думать о нем. Слово «влюбленность» не произнесено в повести, оно подразумевается, но совершенно не подходит для определения чувства, пробудившегося в Жениной душе! Вообще в художественном мире Пастернака самые важные вещи не принято называть вслух, на них позволено лишь намекать. Ибо то, чему дано имя, перестает быть тайной: вспомним Мотовилиху. И недаром Женя не хочет вымолвить фамилию постороннего – Цветков, а называет его в третьем лице: «этот». В разговоре о тайне неопределенность точнее прямоты.

Но вот что особенно важно. Незнакомец, едва войдя в Женину жизнь, тут же «выходит» из нее. Жеребец, запряженный в экипаж родителей, «вздрыбился, сбил и подмял под себя случайного прохожего» – этим погибшим прохожим и оказался Цветков. Мало того: после пережитого у Жениной мамы начались преждевременные роды и на свет появился мертвый братец Жени Люверс. Все это от нее пытаются скрыть, отсылают к знакомым Дефендовым, но она догадывается о произошедшем, и тайна смерти, подобно тайне любви, входит в ее сознание также «без слов», намеком. Однако воздействие она оказывает на девочку отнюдь не косвенное. Женя «вдруг почувствовала, что страшно похожа на маму... Чувство это было пронизывающее, острое до стона. Это было ощущение женщины, изнутри или внутренне видящей свою внешность и прелесть».

В самом начале второй части мы встречаем Женю, читающую Лермонтова. В самом конце мы видим, как «без дальнейших слов Лермонтов был тою же рукой втиснут назад в покосившийся рядок классиков». Вместе с Лермонтовым задвинуто в прошлое и Женино детство, а значит, исчерпан сюжет повести, названной «Детство Люверс».

И вот – неожиданное, но закономерное совпадение. «Посторонний», Цветков, прихрамывает. Пастернак подчеркивает это: «Диких был не один, вслед за ним вышел невысокий человек, который, ступая, старался скрыть, что припадает на ногу». Теперь откроем «Охранную грамоту», прочитаем в ней рассказ о переломном событии в жизни тринадцатилетнего Пастернака. Переломном и в прямом и в переносном смысле. «Я не буду описывать в подробностях...», как, «когда я сломал... ногу, в один вечер выйдя из двух будущих войн, и лежал без движенья в гипсе, горели за рекой... знакомые, и юродствовал, трясясь в лихорадке, тоненький сельский набат... Как, скача в ту ночь с врачом из Малоярославца, поседел мой отец при виде клубившегося отблеска... вселявшего убеждение, что это горит близкая ему женщина с тремя детьми...» Лихорадочный ритм фразы, описание, заставляющее вспомнить о люверсовской Мотовилихе... И главное – несомненная связь между образом прихрамывающего Постороннего, погибшего под копытами лошади, и образом прихрамывающего поэта, вышибленного лошадей из седла. Корни случившегося по воле Пастернака с Женей Люверс уходят в его собственное детство, и те потрясения, что

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru выпали на долю героини, были пережиты самим автором. В том же, 1903 году, когда горел за рекою дом и поседел отец, утонул поблизости и студент, спасая воспитанницу пастернаковских знакомых, «и она затем сошла с ума, после нескольких покушений на самоубийство с того же обрыва...». Как воскликнула бы Жена: «И у вас тоже горе? Сколько смертей – и все вдруг!» Только пройдя через трагедию, Пастернак смог состояться и как личность, и как поэт. Естественно, что тот же путь он уготовал для своей героини. Любимой героини.

Но откуда и зачем такая «мрачная» философия детства у поэта, которому была дарована счастливая «начальная пора» и который, как никто, радовался жизни. Да нет тут никакой мрачности! Эта философия горька, как лекарство, но, как лекарство же, как прививка, способна уберечь от куда более страшных, духовных болезней.

В «Охранной грамоте» есть словно бы между делом брошенная мысль: «В возрастах отлично разбиралась Греция... Она умела мыслить „детство“ замкнуто и самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро... Какая-то доля риска и трагизма, по ее мысли, должна быть собрана достаточно рано в наглядную, мгновенно обозримую горсть... в каком-то запоминающемся подобии, быть может, должна быть пережита и смерть». На самом же деле эта задвинутая автором «в угол» мысль заключает в себе одну из главных идей и «Охранной грамоты», и «Детства Люверс», и «Людей и положений». Через горе пролегает путь к радости, через разлуку – к любви. Если все печальное, о чем шла речь в приведенной цитате, не будет пережито подростком в «каком-то запоминающемся подобии», если детство будет «безмятежно», человек никогда не сможет ощутить жизнь как движение от возраста к возрасту, никогда не смирится со старостью и всегда будет обожествлять молодость, порываясь вернуться в нее. Если же такому человеку суждено стать художником, то его постоянно будет подстерегать соблазн самоубийства, поскольку, как ни страшно это звучит, от старости может избавить только смерть. В «Охранной грамоте» и «Людах и положениях» много говорится об этом, и недаром самые горькие слова сказаны о Маяковском, покончившем с собой: «...Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда». И пусть внимательный читатель «Охранной грамоты» отметит для себя, с какой настойчивостью Пастернак подчеркивает молодость погибшего Маяковского, как будто выстрел вернул его в пору, когда он был «красивым, двадцатидвухлетним». В пору, которую он так страшился утратить, что без нее не хотел жить.

А тот, кому будущее далось «с трудом», кто не был «рано» избалован им и чьему пониманию «внутреннее членение истории» было с детства «навязано... в образе неминуемой смерти»? Он, сталкиваясь с самыми тяжелыми испытаниями в своей последующей жизни, теряя самое дорогое, не просто находит силы и мужество «все пережить и все пройти», но и духовно обновляется после каждой утраты. И чем горше утрата, тем полновеснее обновление. «Зерно не даст всхода, если не умрет» – Пастернак особенно выделял для себя эти евангельские слова и процитировал их в «Людах и положениях». Да, творчество дарует чувство бескрайности мира, поэт – «вечности заложник у времени в плену», но – по Пастернаку – чтобы постичь бесконечность жизни, нужно сначала «в каком-то запоминающемся подобии» пережить ее конец. Пастернак усвоил это, как никто другой, и потому назвал себя в стихотворении «Марбург», из второго своего поэтического сборника «Поверх барьеров» (1914–1916), – стихотворении, посвященном центральному событию «Охранной грамоты»: разрыву с возлюбленной, – «вторично родившимся»:

Я вздрагивал. Я загорался и гас.

Я трясся. Я сделал сейчас предложение. –

Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ.

Как жаль ее слез! Я святого блаженней!

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен

Вторично родившимся. Каждая малость

Жила и, не ставя меня ни во что,

В прощальном значеньи своем подымалась...

Позже, в 1932 году, сразу после выхода «Охранной грамоты», поэт повторил некогда найденный образ и назвал свой поэтический сборник «Второе рождение». Но что значит – вторично родиться? Не что иное, как ценою потрясений обновить восприятие жизни, заново увидеть мир. То есть обрести детский, незамутненный взгляд на вещи, опять «начать жить стихом»!

Так мы подошли к главной причине постоянных сближений образов поэта и ребенка в

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru пастернаковском творчестве и его неизменного возвращения к теме детства. Святочные праздники, рождественские елки, сны детворы, потомство, обдающее «черемуховым свежим мылом и пряниками на меду», семейства, кружащие под музыку Брамса в летнем саду, детские «цыганские страхи» буквально переполняют его поэзию. А вспомним первые же страницы романа «Доктор Живаго» – вершинного пастернаковского творения в прозе! Здесь мы видим десятилетнего Юру на свежей могиле матери, так вытягивающего шею, что «если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет». (Не забудем, что первоначальное название романа – «Девочки и мальчики» – восходит к «Детству Люверс»!) А глава «Детство» («Мне четырнадцать лет...») в поэме «1905 год»?

Тем удивительнее, что о мире детства Пастернак говорит чаще всего языком совершенно взрослого человека, прошедшего солидную философскую подготовку; языком, в который закрыт доступ интонациям ребенка, словечкам из его обихода, стиливым приметам возраста: стихотворение «Так начинают...», повесть «Детство Люверс» ярко демонстрируют это.

Все дело в том, что Пастернак не изображал мир ребенка, а выражал его изнутри. Поэт мужал, менялся, но детская верность тайне, рыцарственное отношение к миру и людям, глубинное родство с жизнью природы, чистота и первозаданность взгляда на ход вещей – оставались присущими ему. Между тем «подстроиться» под ребенка, начать разговаривать с ним на «его» языке возможно лишь с высоты иного – взрослого и едва ли не старчески умудренного уровня.

Отсюда же, из этого психологического и философского корня, и взгляд на ребенка в пастернаковской прозе не сверху вниз, а вровень (как, впрочем, у любого большого писателя, обратившегося к теме детства). Недаром «Детство Люверс» сразу же по ее выходе в свет поэт и критик Михаил Кузмин поставил в один ряд с «Детством» М. Горького, «Детством Никиты» А. Н. Толстого, поэмой Вяч. Иванова «Младенчество», а выдающийся литературовед и писатель Юрий Тынянов сравнил с толстовской трилогией «Детство», «Отрочество», «Юность».

Ощущения, мысли, предчувствия, сны девочки Жени даны аккордом, вперемешку, сразу, одновременно. Читателю, привыкшему к последовательной гармонии гаммы чувств, это может показаться хаосом – стилистическим, сюжетным, содержательным. Но Пастернак предоставлял читателю право дорости до той степени сложности внутреннего мира, которая отличает маленькую Женю, всех ее сверстников и сверстниц и делает их равными Художнику, Поэту. Сложности, которую иначе как с помощью запутанного синтаксиса и каскада образов выразить невозможно: все «чаще игралось и вздорилось, пилось и елось в совершенно пустых, торжественно безлюдных комнатах, и холодные поучения англичанки не могли заменить присутствия матери, наполнявшей дом сладкой тягостностью запальчивости и упорства, как каким-то родным электричеством... А так как для девочки это были годы подозрительности и одиночества, чувства греховности и того, что хочется обозначить по-французски „христианизмом“, за невозможностью назвать все это христианством, то иногда казалось ей, что лучше и не может и не должно быть по ее испорченности и нераскаянности...» Этот пассаж также вполне сопоставим со стихотворением «Так начинают...», только с другой его строфой – о «страшной красоте» и мучительных подозрениях детства. И тут и там всклокоченный, вихрящийся поток авторской речи призван донести до нас горячее дыхание неоформившегося, клубящегося, как звездное вещество, детского сознания. Этому веществу предстоит обрести завершенность, цельность, перерасти в строгую гармонию зрелости, но все, что потребуется для будущего жизнотворчества, заключено именно в нем. И потому так близка стилистика «Детства Люверс» и «Охранной грамоты»!

Но читатель предлагаемой книги ощутит резкую перемену слога, когда очередь дойдет до «Людей и положений». Очерк, написанный спустя четверть века после «Охранной грамоты», не только и даже не столько продолжает ее, сколько проясняет. Особенно это бросается в глаза, когда возникает прямой повтор эпизодов или по-новому развивается старая тема: последний год в жизни писателя, например. Да и начинается очерк 1957 года ворчливым упоминанием о том, что «опыт автобиографии, написанный в двадцатых годах», испорчен «ненужною манерностью». Прочитав пастернаковские стихи тех лет, мы убедимся, что, достигнув кристальной простоты и ясности слога, поэт вдруг резко приближается к трезвому, обостренно-болевному, сугубо «взрослому» взгляду на мир. В его последнем поэтическом цикле «Когда разгуляется» (1956–1959) образы детства возникают лишь в тех случаях, когда нужно подчеркнуть нежно-ироническую

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
интонацию в разговоре с возлюбленной: «Все равно, на свету, в темноте, Ты всегда рассуждаешь по-детски...» Или когда делаются наброски поэмы о Блоке: без детства героя никак не обойтись. Или когда раздумья о «женской доле» выводят к теме «женщины в детстве», и вольно или невольно она ассоциируется с темой «Детства Люверс». Более того, поздний Пастернак почти всюду сопрягает детство и смерть: он о начале жизни теперь говорит едва ли не потому, что именно с него начинается конец ее! Так что же стряслось? Почему любимые поэтом святки, с их ощущением близкого присутствия самой вечности, стали знаком приближающейся кончины – «Снег идет, снег идет... Не оглянись – и святки»?.. Только ли в возрасте дело? И только ли в пережитом за тяжкие послевоенные годы? Именно этот период как бы выпал из автобиографической прозы Пастернака, а между тем патриотический подъем, пережитый им в годы войны[1], и надежды на «общенациональное примирение» власти с народом после великой победы сменились беспросветным разочарованием. В 1948 году вышел последний прижизненный сборник стихотворений Пастернака, да и тот был пущен под нож. Роман «Доктор Живаго», работе над которым поэт посвятил долгие годы жизни, не был опубликован на родине, а выход его за рубежом в Италии (1957) и присуждение Нобелевской премии (1958) вызвали травлю Пастернака, исключение его из Союза писателей. В «Известиях» появилось сообщение ТАСС о том, что «Советское правительство не будет чинить препятствий», если поэт пожелает выехать за рубеж. Это было не что иное, как предложение покинуть Отечество. Пастернак ответил резким отказом, подписав составленное его друзьями письмо советскому правительству... Да, здесь одна из причин «постарения» пастернаковской Музы; одна, но далеко не единственная. Да и «постарение» то было совершенно особое.

Конечно, холодное мерцание ухода различимо на страницах последней книги поэта. И прощание с детской беспечностью открыто звучит тут. Но что же пришло в пастернаковскую поэзию на смену детской открытости, порывистости, приобщенности тайне? Ответ – едва ли не в каждом стихотворении цикла, где слово «вечность» звучит как никогда часто, а поэт назван «вечности заложником» «у времени в плену». И недаром книгу «Когда разгуляется» венчает гениальное стихотворение «Единственные дни», где бессмертье изображено не в виде некоего миража, туманного и многообещающего, а как состояние, переживаемое просто и естественно, по-домашнему:

...И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.

Общеизвестна поэтическая формула Анны Ахматовой из ее стихотворения о Пастернаке: «Он награжден каким-то вечным детством».

К моменту создания прощального поэтического цикла «вечное детство» для него завершилось и началась сама вечность.

Александр Архангельский

Детство Люверс{1}
(Повесть)

Долгие дни

I

Люверс родилась и выросла в Перми. Как когда-то ее кораблики и куклы, так впоследствии ее воспоминания тонули в мохнатых медвежьих шкурах, которых много – было в доме. Отец ее вел дела Луньевских копей и имел широкую клиентуру среди заводчиков с Чусовой{2}.

Дареные шкуры были черно-бурые и пышные. Белая медведица в ее детской была похожа на огромную осыпавшуюся хризантему. Это была шкура, заведенная для «Женечкиной комнаты», – облюбованная, сторгованная в магазине и присланная с посыльным.

По летам живали на том берегу Камы на даче. Женю в те годы спать укладывали рано. Она не могла видеть огней Мотовилихи{3}. Но однажды ангорская кошка, чем-то испуганная, резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Тогда она увидела взрослых на балконе. Нависавшая над брусьями ольха была густа и переливчата, как чернила. Чай в стаканах был красен. Манжеты и карты – желты, сукно – зелено. Это

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru было похоже на бред, но у этого бреда было свое название, известное и Жене: шла игра.

Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным и не было бредом, как то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая свежие, ветренные тени на рыжие бревна галереи. Женя расплакалась. Отец вошел и объяснил ей. Англичанка повернулась к стене. Объяснение отца было коротко:

– Это – Мотовилиха. Стыдно! Такая большая девочка... Спи!

Девочка ничего не поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся слезу. Только это ведь и требовалось: узнать, как зовут непонятное, – Мотовилиха. В эту ночь это объяснило еще все, потому что в эту ночь имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение.

Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха – завод, казенный завод, и что делают там чугун; а из чугуна... Но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют «заводы», и кто там живет; но этих вопросов она не задала и их почему-то умышленно скрyla.

В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью. Она в первый раз за свои годы заподозрила явление в чем-то таком, что явление либо оставляет про себя, либо если и открывает кому, то тем только людям, которые умеют кричать и наказывать, курят и запирают двери на задвижку. Она впервые, как и эта новая Мотовилиха, сказала не все, что подумала, и самое существенное, нужное и беспокойное скрyla про себя.

Шли годы. К отъездам отца дети привыкли с самого рождения настолько, что в их глазах превратилось в особую отрасль отцовства редко обедать и никогда не ужинать. Но все чаще и чаще игралось и вздорилось, пилось и елось в совершенно пустых, торжественно безлюдных комнатах, и холодные поучения англичанки не могли заменить присутствия матери, наполнявшей дом сладкой тягостностью запальчивости и упорства, как каким-то родным электричеством. Сквозь гардины струился тихий северный день. Он не улыбался. Дубовый буфет казался седым. Тяжело и сурово грудилось серебро. Над скатертью двигались лавандой умытые руки англичанки, она никого не обделяла и обладала неистощимым запасом терпенья; а чувство справедливости было свойственно ей в той высокой степени, в какой всегда чиста была и опрятна ее комната и ее книги. Горничная, подав кушанье, застаивалась в столовой и в кухню уходила только за следующим блюдом. Было удобно и хорошо, но страшно печально.

А так как для девочки это были годы подозрительности и одиночества, чувства греховности и того, что хочется обозначить по-французски «христианизмом», за невозможностью назвать все это христианством, то иногда казалось ей, что лучше и не может и не должно быть по ее испорченности и нераскаянности; что это поделом. А между тем, – но это до сознания детей никогда не доходило, – между тем, как раз наоборот, все их существо содрогалось и бродило, сбитое совершенно с толку отношением родителей к ним, когда те бывали дома; когда они не то чтобы возвращались домой, но возвращались в дом.

Редкие шутки отца вообще выходили неудачно и бывали не всегда кстати. Он это чувствовал и чувствовал, что дети это понимают. Налет какой-то печальной сконфуженности никогда не сходил с его лица. Когда он приходил в раздражение, то становился решительно чужим человеком, чужим начисто и в тот самый миг, в который он утрачивал самообладание. Чужой не трогает. Дети никогда не дерзословили ему в ответ.

Но с некоторого времени критика, шедшая из детской и безмолвно стоявшая в глазах детей, заставляла его нечувствительным. Он не замечал ее. Ничем не уязвимый, какой-то неузнаваемый и жалкий, этот отец был – страшен, в противоположность отцу раздраженному – чужому. Он трогал больше девочку, сына – меньше.

Но мать смущала их обоих. Она осыпала их ласками, и задаривала, и проводила с ними целые часы тогда, когда им менее всего этого хотелось; когда это подавляло их детскую совесть своей незаслуженностью и они не узнавали себя в тех

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
ласкательных прозвищах, которыми взбалмошно сыпал ее инстинкт.

И часто, когда в их душах наступал на редкость ясный покой и они не чувствовали преступников в себе, когда от совести их отлегалось все таинственное, чурающееся обнаружения, похожее на жар перед сыпью, они видели мать отчужденной, сторонящейся их и без повода вспылчивой. Являлся почтальон. Письмо относилось по назначению – маме. Она принимала не благодаря. «Ступай к себе!» хлопала дверь. Они тихо вешали голову и, заскучав, отдавались долготу, унылому недоумению.

Вначале, случалось, они плакали; потом, после одной особенно резкой вспышки, стали бояться; затем, с течением лет, это перешло у них в затаенную, все глубже укоренявшуюся неприязнь.

Все, что шло от родителей к детям, приходило невпопад, со стороны, вызванное не ими, но какими-то посторонними причинами, и отдавало далекостью, как это всегда бывает, и загадкой, как ночами нить по заставам, когда все ложатся спать.

Это обстоятельство воспитывало детей. Они этого не сознавали потому, что мало кто из взрослых знает и слышит то, что зиждет, ладит и шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. Помочь ей не властен никто, помешать – может всякий. Как можно ей помешать? А вот как. Если доверить дереву заботу о его собственном росте, дерево все сплошь пойдет проростью, или уйдет целиком в корень, или расточится на один лист, потому что оно забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и, произведя что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же.

И чтобы не было суков в душе, – чтобы рост ее не застаивался, чтобы человек не замешивал своей тупости в устройство своей бессмертной сути, заведено много такого, что отвлекает его пошлое любопытство от жизни, которая не любит работать при нем и его всячески избегает. Для этого заведены все заправские религии, и все общие понятия, и все предрассудки людей, и самый яркий из них, самый развлекающий, – психология.

Из первобытного младенчества дети уже вышли. Понятия кары, воздаяния, награды и справедливости проникли уже по-детски в их душу и отвлекали в сторону их сознание, давая жизни делать с ними то, что она считала нужным, веским и прекрасным.

II

Мисс Hawthorn этого б не сделала. Но в один из приступов своей беспричинной нежности к детям госпожа Люверс по самому пустому поводу наговорила резкостей англичанке, и в доме ее не стало. Вскоре и как-то незаметно на ее месте выросла какая-то чахлая француженка. Впоследствии Женя припоминала только, что француженка похожа была на муху, и никто ее не любил. Имя ее было утрачено совершенно, и Женя не могла бы сказать, среди каких слогов и звуков можно на это имя набрести. Она только помнила, что француженка сперва накричала на нее, а потом взяла ножницы и выстригла то место в медвежьей шкуре, которое было закровавлено.

Ей казалось, что теперь всегда на нее будут кричать, и голова никогда не пройдет и постоянно будет болеть, и никогда уже больше не будет понятна та страница в ее любимой книжке, которая тупо сплывалась перед ней, как учебник после обеда.

Тот день тянулся страшно долго. Матери не было в тот день. Женя об этом не жалела. Ей казалось даже, что она ее отсутствию рада.

Вскоре долгий день был предан забвению среди форм *passé* и *futur antérieur*, поливки гиацинтов и прогулок по Сибирской и Оханской. Он был позабыт настолько, что долготу другого, второго по счету в ее жизни, она заметила и ощутила только к вечеру, за чтением при лампе, когда лениво подвигавшаяся повесть навела ее на сотни самых праздных размышлений. Когда впоследствии она припомнила тот дом на Осинской, где они тогда жили, он представлялся ей всегда таким, каким она его видела в тот второй долгий день, на его исходе. Он был действительно долг. На дворе была весна. Трудно назревающая и больная, весна на Урале прорывается затем широко и бурно, в срок одной какой-нибудь ночи, и бурно и широко протекает

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
затем. Лампы только оттеняли пустоту вечернего воздуха. Они не давали света, но набухали изнутри, как большие плоды, от той мутной и светлой водянки, которая раздувала их одутловатые колпаки. Они отсутствовали. Они попадались где надо, на своих местах, на столах, и спускались с лепных потолков в комнатах, где девочка привыкла их видеть. Между тем до комнат у ламп было касательства куда меньше, чем до весеннего неба, к которому они казались пододвинутыми вплотную, как к постели больного – питье. Душой своей они были на улице, где в мокрой земле копошился говор дворни и где, леденя, застывала на ночь редущая капель. Вот где вечерами пропадали лампы. Родители были в отъезде. Впрочем, мать ожидалась, кажется, в этот день. В этот долгий или в ближайшие. Да, вероятно. Или, может быть, она нагрязнула ненароком. Может быть и то.

Женя стала укладываться в постель и увидела, что день долог оттого же, что и тот, и сначала подумала было достать ножницы и выстричь эти места в рубашке и на простыне, но потом решила взять пудры у француженки и затереть белым, и уже схватилась за пудреницу, как вошла француженка и ударила ее. Весь грех сосредоточился в пудре.

– Она пудрится! Только этого не доставало.

Теперь она поняла наконец. Она давно замечала.

Женя расплакалась от побоев, от крика и от обиды; оттого, что, чувствуя себя неповинною в том, в чем ее подозревала француженка, знала за собой что-то такое, что было – она это чувствовала – куда сквернее ее подозрений. Надо было – это чувствовалось до отупенья действительно, чувствовалось в икрах и в висках – надо было неведомо отчего и зачем скрыть это, как угодно и во что бы то ни стало. Суставы, ноя,плыли слитным гипнотическим внушением. Томящее и измощающее, внушение это было делом организма, который таил смысл всего от девочки и, ведя себя преступником, заставлял ее полагать в этом кровотоке какое-то тошнотворное, гнусное зло. «Menteuse!»[2]. Приходилось только отрицать, упорно запершись в том, что было гаже всего и находилось где-то в середине между срамом безграмотности и позором уличного происшествия. Приходилось вздрагивать, стиснув зубы, и, давясь слезами, жаться к стене. В Каму нельзя было броситься, потому что было еще холодно и по реке шли последние урывки[4].

Ни она, ни француженка не услышали вовремя звонка. Поднявшаяся кутерьма ушла в глухоту черно-бурых шкур, и когда вошла мать, то было уже поздно. Она застала дочь в слезах, француженку в краске. Она потребовала объяснения. Француженка напрямик объявила ей, что – не Женя, нет – *votre enfant*[3], – сказала она, – что ее дочь пудрится и что она замечала и догадывалась уже раньше. Мать не дала договорить ей – ужас ее был непритворен: девочке не исполнилось еще и тринадцати.

– Женя – ты?.. Господи, до чего дошло! (Матери в эту минуту казалось, что слово это имеет смысл, будто уже и раньше она знала, что дочка деградирует и опускается, и она только не распорядилась вовремя – и вот застает ее на такой низкой степени паденья.) Женя, говори всю правду – будет хуже! – что ты делала... – с пудреницей, хотела, вероятно, сказать госпожа Люверс, но сказала: – с этой вещью, – и схватила «эту вещь» и взмахнула ею в воздухе.

– Мама, не верь *mademoiselle*, я никогда... – и она разрыдалась.

Но матери слышались злобные ноты в этом плаче, которых не было в нем, и она чувствовала виноватой себя и внутренне себя ужасалась; надо было, по ее мнению, исправить все, надо было, пускай и против материнской природы, «возвыситься до педагогических и благоразумных мер»: она решила не поддаваться состраданию. Она положила выждать, когда прольется поток этих глубоко терзавших ее слез.

И она села на кровать, устремив спокойный и пустой взгляд на краешек книжной полки. От нее пахло дорогими духами. Когда дочь пришла в себя, она снова приступила к ней с расспросами. Женя кинула заплаканными глазами по окну и всхлипнула. Шел и, верно, шумел лед. Блестала звезда. Ковко и студено, но без отлива, шершаво чернела пустынная ночь. Женя отвела глаза от окна. В голосе матери слышалась угроза нетерпенья. Француженка стояла у стены, вся – серьезность и сосредоточенная педагогичность. Ее рука по-адыюнтантски покоилась на часовом шнурке. Женя снова глянула на звезды и на Каму. Она решила. Несмотря ни на холод, ни на урывки. И – бросилась. Она, путаясь в словах,

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru непохоже и страшно рассказала матери про это. Мать дала договорить ей до конца только потому, что ее поразило, сколько души вложил ребенок в это сообщение. Понять – поняла-то она все по первому слову. Нет, нет: по тому, как глубоко глотнула девочка, приступая к рассказу. Мать слушала, радуясь, любя и изнывая от нежности к этому худенькому тельцу. Ей хотелось броситься на шею к дочери и заплакать. Но – педагогичность: она поднялась с кровати и сорвала с постели одеяло. Она подозвала дочь и стала ее гладить по голове медленно-медленно, ласково.

– Хорошая де... – вырвалось у ней скороговоркой. Она шумно и широко отошла к окну и отвернулась от них.

Женя не видела француженки. Стояли слезы, стояла мать – во всю комнату.

– Кто оправляет постель?

Вопрос не имел смысла. Девочка дрогнула. Ей стало жаль Грушу. Потом на знакомом ей французском языке, незнакомым языком было что-то сказано: строгие выражения. А потом опять ей, совсем другим голосом:

– Женечка, ступай в столовую, детка, я сейчас тоже туда приду и расскажу тебе, какую мы чудную дачу на лето вам... нам на лето с папой сняли.

Лампы были опять свои, как зимой, дома, с Люверсами, – горячие, усердные, преданные. По синей шерстяной скатерти резвилась мамина куница. «Выиграно задержусь на Благодати{5} жди концу Страстной если...»; остального нельзя было прочесть: депеша была загнута с уголка. Женя села на край дивана, усталая и счастливая. Села скромно и хорошо, точь-в-точь как села полгода спустя в коридоре Екатеринбургской гимназии на край желтой холодной лавки, когда, ответив на устном экзамене по русскому языку на пятерку, узнала, что «может идти».

На другое утро мать сказала ей, что нужно будет делать в таких случаях и что это ничего, не надо бояться, что это будет не раз еще. Она ничего не назвала и ничего ей не объяснила, но прибавила, что теперь она сама займется предметами с дочерью, потому что больше уезжать не будет.

Француженка была разочтена за нерадение, пробыв немного месяцев в семье. Когда ей наняли извозчика и она стала спускаться по лестнице, она встретилась на площадке с подымавшимся доктором. Он очень неприветливо ответил на ее поклон и ничего не сказал ей на прощанье; она догадалась, что он уже знает все, нахмурилась и повела плечами.

В дверях стояла горничная, дожидавшаяся пропустить доктора, и потому в передней, где находилась Женя, дольше, чем полагалось, стоял гул шагов и гул отдающего камня. Так и запечатлелась у ней в памяти история ее первой девичьей зрелости: полный отзвук щебечущей утренней улицы, медлящей на лестнице, свежо проникающей в дом; француженка, горничная и доктор, две преступницы и один посвященный, омытые, обеззараженные светом, прохладой и звучностью шаркавших маршей.

Стоял теплый, солнечный апрель. «Ноги, ноги оботрите!» – из конца в конец носил голый светлый коридор. Шкуры убирались на лето. Комнаты вставали чистые, преображенные и вздыхали облегченно и сладко. Весь день, весь томительно беззакатный, надолго увязавший день, по всем углам и середь комнат, по прислоненным к стенке стеклам и в зеркалах, в рюмках с водой и на синем садовом воздухе, ненасытно и неутолимо, шурясь и охорашиваясь, смеялась и неистовствовала черемуха и мылась, захлебываясь, жимолость. Круглые сутки стоял скучный говор дворов; они объявляли ночь низложенной и твердили мелко и дробно, день-деньской, с затеканьями, действовавшими как сонный отвар, что вечера никогда больше не будет и они никому не дадут спать. «Ноги, ноги!» – но им горелось, они приходили пьяные с воли, со звоном в ушах, за которым упустили понять толком сказанное и рвались поживей отхлебать и отжеваться, чтобы, с дерущим шумом сдвинув стулья, бежать снова назад, в этот навывлет, за ужин ломящийся день, где просыхающее дерево издавало свой короткий стук, где пронзительно щебетала синева и жирно, как топленая, блестела земля. Граница между домом и двором стиралась. Тряпка не домывала наследенного. Полы поволакивались сухой и светлой мазней и похрустывали.

Отец навез сластей и чудес. В доме стало чудно хорошо. Камни с влажным шелестом предупреждали о своем появлении из папиросной, постепенно окрашивавшейся бумаги, которая становилась все более и более прозрачной по мере того, как слой за слоем разворачивались эти белые, мягкие, как газ, пакеты. Одни походили на капли миндального молока, другие – на брызги голубой акварели, третьи – на затвердевшую сырную слезу. Те были слепы, сонны или мечтательны, эти – с резвою искрой, как смерзшийся сок корольков. Их не хотелось трогать. Они были хороши на пенящейся бумаге, выделявшей их, как слива свою тусклую глень{6}.

Отец был необычайно ласков с детьми и часто провожал мать в город. Они возвращались вместе и казались радостны. А главное, оба были спокойны духом, ровны и приветливы, и когда мать урывками, с шутовой укоризной взглядывала на отца, то казалось, она черпает этот мир в его глазах, некрупных и некрасивых, и изливает его потом своими, крупными и красивыми, на детей и окружающих.

Раз родители поднялись очень поздно. Потом неизвестно с чего решили поехать завтракать на пароход, стоявший у пристани, и взяли с собой детей. Сереже дали отведать холодного пива. Все это так понравилось им, что завтракать на пароход ездили еще как-то. Дети не узнавали родителей. Что с ними стало? Девочка недоуменно блаженствовала, и ей казалось, что так будет теперь всегда. Они не опечалились, когда узнали, что на дачу их в это лето не повезут. Скоро отец уехал. В доме появились три дородных сундука, огромных, желтых, с прочными накладными ободьями.

III

Поезд отходил поздно ночью. Люверс переехал месяцем раньше и писал, что квартира готова. Несколько извозчиков трусцой спускались к вокзалу. Его близость сказалась по цвету мостовой. Она стала черна, и уличные фонари ударили по бурому чугуну. В это время с виадука открылся вид на Каму, и под них грохнулась и выбежала черная, как сажа, яма, вся в тяжестих и в тревогах. Она стрелой побежала прочь и там, далеко-далеко, в том конце, пугаясь, раскатилась и затряслась мигающими бусинами сигнализационных далей.

Было ветрено. С домков и заборов слетали их очертанья, как обечайки{7} с решет, и зыбились и трепались в рытом воздухе. Пахло картошкой. Их извозчик выбрался из череды подскакивавших спереди корзин и задков и стал обгонять их. Они издали узнали полк{8} со своим багажом; поравнялись; Ульяша что-то громко кричала барыне с возу, но гогот колес ее покрывал, и она тряслась и подскакивала, и подскакивал ее голос.

Девочка не замечала печали за новизной всех этих ночных шумов и чернот и свежести. Далеко-далеко что-то загадочно чернелось. За пристанскими бараками болтались огоньки, город полоскал их в воде с бережка и с лодок. Потом их стало много, и они густо и жирно зароились, слепые, как черви. На Любимовской пристани трезво голубели трубы, крыши пакгаузов, палубы. Лежали, глядя на звезды, баржи. «Здесь – крысятник», – подумала Женя. Их окружили белые артельщики. Сережа соскочил первый. Он оглянулся и очень удивился, увидав, что ломовик с их поклажей тоже тут уже, – лошадь задрала морду, хомут вырос, встал торчмя, петухом, она уперлась в задок и стала осаживать. А его занимало всю дорогу, насколько те от них отстанут.

Мальчик стоял, упиваясь близостью поездки, в беленькой гимназической рубашке. Путешествие было обоим в новинку, но он знал и любил уже слова: депо, паровозы, запасные пути, беспересадочные, и звукосочетание «класс» казалось ему на вкус кисло-сладким. Всем этим увлекалась и сестра, но по-своему, без мальчишеской систематичности, которая отличала увлечения брата.

Внезапно рядом как из-под земли выросла мать. Было приказано повести детей в буфет. Оттуда, пробираясь павой через толпу, пошла она прямо к тому, что было названо в первый раз на воле громко и угрожающе «начальником станции» и часто упоминалось затем в различных местах, с вариациями, среди разнообразия давки.

Их одолевала зевота. Они сидели у одного из окон, которые были так пыльны, так чопорны и так огромны, что казались какими-то учреждениями из бутылочного стекла, где нельзя оставаться в шапке. Девочка видела: за окном не улица, а тоже комната, только серьезнее и угрюмее, чем эта – в графине, и в ту комнату медленно въезжают паровозы и останавливаются, наведя мраку; а когда они уезжают

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
и очищают комнату, то оказывается, что это не комната, потому что там есть небо, за столбиками, и на той стороне – горка, и деревянные дома, и туда идут, удаляясь, люди; там, может быть, поют петухи сейчас и недавно был и наслякотил водовоз...

Это был вокзал провинциальный, без столичной суеты и зарев, с заблаговременно стягивавшимися из ночного города уезжающими, с долгим ожиданием; с тишиной и переселенцами, спавшими на полу, среди охотничьих собак, сундуков, зашитых в рогожу машин и не зашитых велосипедов.

Дети улеглись на верхних местах. Мальчик тотчас заснул. Поезд стоял еще. Светало, и постепенно девочке уяснилось, что вагон синий, чистый и прохладный. И постепенно уяснялось ей... Но спала уже и она.

Это был очень полный человек. Он читал газету и колыхался. При взгляде на него становилось явным то колыханье, которым, как и солнцем, было пропитано и залито все купе. Женя разглядывала его сверху с той ленивой аккуратностью, с какой думает о чем-нибудь, или на что-нибудь смотрит вполне проспавшийся, свежий человек, оставаясь лежать только оттого, что ждет, чтобы решение встать пришло само собой, без его помощи, ясное и непринужденное, как остальные его мысли. Она разглядывала его и думала, откуда он взялся к ним в купе и когда это успел он одеться и умыться. Она понятия не имела об истинном часе дня. Она только проснулась, следовательно – утро. Она его разглядывала, а он не мог видеть ее: полати шли наклоном вглубь к стене. Он не видел ее, потому что и он поглядывал изредка из-за ведомостей{9} вверх, вкось, вбок, и когда он подымал глаза на ее койку, их взгляды не встречались; он либо видел один матрац, либо же... но она быстро подобрала их под себя и натянула ослабнувшие чулочки. «Мама – в этом углу; она убралась уже и читает книжку, – отраженно решила Женя, изучая взгляды толстяка. – А Сережи нет и внизу. Так где же он?» И она сладко зевнула и потянулась. «Страшно жарко», – поняла она только теперь и с голов заглянула на полуспущенное окошко. «А где же земля?» – ахнуло у ней в душе.

То, что она увидела, не поддается описанию. Шумный орешник, в который вливался, змеясь, их поезд, стал морем, миром, чем угодно, всем. Он сбегал, яркий и ропщущий, вниз широко и отлого и, измельчав, сгустившись и замглась, круто обрывался, совсем уже черный. А то, что высылось там, по ту сторону срыва, походило на громадную какую-то, всю в кудрях и в колечках, зелено-палевую грозовую тучу, задумавшуюся и остолбеневшую. Женя затаила дыхание и сразу же ощутила быстроту этого безбрежного, забывшегося воздуха, и сразу же поняла, что та грозовая туча – какой-то край, какая-то местность, что у ней есть громкое горное имя, раскатившееся кругом, с камнями и с песком сброшенное вниз, в долину; что орешник только и знает, что шепчет и шепчет его; тут и там, и та-а-ам вон; только его.

– Это – Урал? – спросила она у всего купе, перевесаясь.

Весь остаток пути она не отрываясь провела у коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно высывалась. Она жадничала. Она открыла, что назад глядеть приятней, чем вперед. Величественные знакомцы туманятся и отходят вдаль. После краткой разлуки с ними, в течение которой с отвесным грохотом, на гремящих цепях, обдавая затылок холодом, подают перед самым носом новое диво, опять их разыскиваешь. Горная панорама раздалась к все растет и ширится. Одни стали черны, другие освежены, те помрачены, эти помрачают. Они сходятся и расходятся, спускаются и совершают восхождения. Все это производится по какому-то медлительному кругу, как вращенье звезд, с бережной сдержанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботой о целостности земли. Этими сложными передвижениями заправляет ровный, великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным оком, немой и темный, он делает им смотр. Так строится, строится и перестраивается Урал.

Она зашла на мгновение в купе, сощуриив глаза от резкого света. Мама беседовала с незнакомым господином и смеялась. Сережа ерзал по пунцовому плюшу, держась за какой-то ременной настенный рубезок{10}. Мама сплюнула в кулачок последнюю косточку, сбила оброненные с платья и, гибко и стремительно наклонясь, зашвырнула весь сор под лавку. У толстяка, против ожиданий, был сиплый, надтреснутый голосок. Он, видимо, страдал одышкой. Мать представила ему Женю и

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru протянула ей мандаринку. Он был смешной и, вероятно, добрый и, разговаривая, поминутно подносил пухлую руку ко рту. Его речь пучилась и, вдруг спираемая, часто прерывалась. Оказалось, он сам из Екатеринбургa, изъездил Урал вдоль и поперек и прекрасно знает, а когда, вынув золотые часы из жилетного кармана, он поднес их к самому носу и стал совать обратно, Женя заметила, какие у него добродушные пальцы. Как это в натуре полных, он брал движением дающего, и рука у него все время вздыхала, словно поданная для целования, и мягко прыгала, будто была мячом об пол.

– Теперь скоро, – кося глаза, криво протянул он вбок от мальчика, хотя обращался именно к нему, и вытянув губы.

– Знаешь, столб, вот они говорят, на границе Азии и Европы, и написано: «Азия», – выпалил Сережа, съезжая с дивана, и побежал в коридор.

Женя ничего не поняла, а когда толстяк растолковал ей, в чем дело, она тоже побежала на тот бок ждать столба, боясь, что его уже пропустила. В очарованной ее голове «граница Азии» встала в виде фантазмагорического какого-то рубежа, вроде тех, что ли, железных брусьев, которые полагают между публикой и клеткой с пумами полосу грозной, черной, как ночь, и вонючей опасности. Она ждала этого столба, как поднятия занавеса над первым актом географической трагедии, о которой слышалась сказок от видевших, торжественно волнуясь тем, что и она попала и вот скоро увидит сама.

А меж тем то, что раньше понудило ее уйти в купе к старшим, однообразно продолжалось: серому ольшанику, которым полчаса назад пошла дорога, не предвиделось скончанья, и природа к тому, что ее вскорости ожидало, не готовилась. Женя досадовала на скучную, пыльную Европу, мешкотно отдалявшую наступление чуда. Как же опешила она, когда, словно на Сережин неистовый крик, мимо окна мелькнуло, и стало боком к ним, и побежало прочь что-то вроде могильного памятничка, унося к себе в ольху от гнавшейся за ним ольхи долгожданное сказочное название! В это мгновение множество голов, как по уговору, сунулось из окон всех классов, и тучей пыли несшийся под уклон поезд оживился. За Азией давно уже числился не один десяток прогонов, а все еще трепетали платки на летевших головах, и переглядывались люди, и были гладкие и обросшие бородой, и летели все, в облаках крутившегося песку, летели и летели мимо все той же пыльной, еще недавно европейской, уже давно азиатской ольхи.

IV

Жизнь пошла по-новому. Молоко не доставлялось на дом, на кухню, разносчицей, его приносила по утрам Уляша парами, и особенные, другие, не пермские булки. Тротуары здесь были какие-то не то мраморные, не то алебастровые, с волнистым белым глянцем. Плиты и в тени слепили, как ледяные солнца, жадно поглощая тени нарядных деревьев, которые растекались, на них растопясь и разжидившись. Здесь совсем по-иному выходилось на улицу, которая была широка и светла, с насаждениями.

– Как в Париже, – повторяла Женя вслед за отцом.

Он сказал это в первый же день их приезда. Было хорошо и просторно. Отец закурил перед выездом на вокзал и не принимал участия в обеде. Его прибор остался чистый и светлый, как Екатеринбург, и он только разложил салфетку, и сидел боком, и что-то рассказывал. Он расстегнул жилет, и его манишка выгнулась свежо и мощно. Он говорил, что это прекрасный европейский город, и звонил, когда надо было убрать и подать еще что-то, и звонил и рассказывал. И по неизвестным ходам из еще неизвестных комнат входила бесшумная белая горничная, вся крахмально-сборчатая и черненькая, ей говорилось «вы», и, новая, – она, как знакомым, улыбалась барыне и детям. И ей отдавались какие-то приказания насчет Уляши, которая находилась там, в неизвестной и, вероятно, очень-очень темной кухне, где, наверное, есть окно, из которого видно что-нибудь новое: колокольню какую-нибудь, или улицу, или птиц. И Уляша, верно, спрашивает сейчас там эту барышню, надевая что похуже, чтобы потом заняться раскладкой вещей; спрашивает, и осваивается, и смотрит, в каком углу печь, в том ли, как в Перми, или еще где.

Мальчик узнал от отца, что в гимназию ходить недалеко, совсем поблизости, – и они должны были ее видеть, проезжая; отец выпил нарзану и, глотнув, продолжал:

– Неужели не показал? Но отсюда ее не видать, вот из кухни, может быть (он

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru прикинул в уме), и то разве крышу одну.

Он выпил еще нарзану и позвонил.

Кухня оказалась свежая, светлая, точь-в-точь такая, – уже через минуту казалось девочке, – какую она наперед загадала в столовой и представила, – плита изразцовая, отливала бело-голубым, окон было два, в том порядке, в каком она того ждала; Ульяша накинула что-то на голые руки, комната наполнилась детскими голосами, по крыше гимназии ходили люди и торчали верхушки лесов.

– Да, она ремонтируется, – сказал отец, когда они прошли все чередом, шумя и толкаясь, в столовую по уже известному, но еще не изведанному коридору, в который надо будет еще наведаться завтра, когда она разложит тетрадки, повесит за ушко свою умывальную перчатку и, словом, покончит с этой тысячей дел.

– Изумительное масло, – сказала мать, садясь.

А они прошли в классную, которую ходили смотреть еще в шапках, только приехав.

– Чем же это – Азия? – подумала она вслух.

Но Сережа отчего-то не понял того, что наверняка бы понял в другое время: до сих пор они жили парой. Он раскатился к висевшей карте и сверху вниз провел рукой вдоль по Уральскому хребту, взглянув на нее, сраженную, как ему казалось, этим доводом:

– Условились провести естественную границу, вот и все.

Она же вспомнила о сегодняшнем полдне, уже таком далеком. Не верилось, что день, вместивший все это, – вот этот самый, который сейчас в Екатеринбурге, и тут еще не весь, не кончился еще. При мысли о том, что все это отошло назад, сохраняя свой бездыханный порядок, в положенную ему даль, она испытала чувство удивительной душевной усталости, как чувствует ее к вечеру тело после трудового дня. Будто и она участвовала в оттискивании и перемещении тех тяжелых красот и надорвалась. И, почему-то уверенная в том, что он, ее Урал, там, она повернулась и побежала в кухню через столовую, где посуды стало меньше, но еще оставалось изумительное масло со льдом на потных кленовых листьях и сердитая минеральная вода.

Гимназия ремонтировалась, и воздух, как швеи мадаполам на зубах, пороли резкие стрижи, и внизу – она высунулась – блистал экипаж у раскрытого сарая, и сыпались искры с точильного круга, и пахло всем съеденным, лучше и занимательней, чем когда это подавалось, пахло грустно и надолго, как в книжке. Она забыла, зачем вбежала, и не заметила, что ее Урала в Екатеринбурге нет, но заметила, как постепенно, подворно, темнеет в Екатеринбурге и как поют внизу, под ними, за легкой, верно, работой: вымыли, верно, пол и стелют рогожи жаркими руками, – и как выплескивают воду из судомойной лохани, и хотя это выплеснули внизу, но кругом так тихо! И как там клокочет кран, как... «Ну вот, барышня...» – но она еще чуждалась новенькой и не желала слушать ее, – ...как, – додумывала она свою мысль, – внизу под ними знают и, верно, говорят: «Вот во второй номер господина нынче приехали».

В кухню вошла Ульяша.

Дети спали крепко в эту первую ночь и проснулись: Сережа – в Екатеринбурге, Женя – в Азии, как опять широко и странно подумалось ей. На потолках свежо играл слоистый алебастр.

Это началось еще летом. Ей объявили, что она поступит в гимназию. Это было только приятно. Но это объявили ей. Она не звала репетитора в классную, где солнечные колера так плотно прилипали к выкрашенной клеевой краской стенам, что вечеру только с кровью удавалось отодрать пристававший день. Она не позвала его, когда, в сопровождении мамы, он зашел сюда знакомиться «со своей будущей ученицей». Она не назначала ему нелепой фамилии Диких. И разве это она того хотела, чтобы отныне всегда солдаты учились в полдень, крутые, сопатые и потные, как красная судорога крана при порче водопровода, и чтобы сапоги им отдавливали лиловая грозная туча, знавшая толк в пушках и колесах куда больше их белых

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
рубаш, белых палаток и белейших офицеров? Просила ли она о том, чтобы теперь всегда две вещи: тазик и салфетка, входя в сочетание, как угли в дуговой лампе, вызывали моментально испаряющуюся третью вещь: идею смерти, как та вывеска у цирюльника, где это случилось с ней впервые? И с ее ли согласия красные, «запрещающие останавливаться» рогатки стали местом каких-то городских, запретно останавливавшихся тайн, а китайцы – чем-то лично страшным, чем-то Жениным и ужасным? Не все, разумеется, ложилось на душу так тяжело. Много, как ее близкое поступление в гимназию, бывало приятно. Но, как и оно, все это объявлялось ей. Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказкой постольку, поскольку стала прозой и превратилась в факт. Тупо, ломотно и тускло, как бы в состоянии вечного протрезвления, попадали элементы будничного существования в завязывавшуюся душу. Они опускались на ее дно, реальные, затверделые и холодные, как сонные оловянные ложки. Там, на дне, это олово начинало плыть, сливаясь в комки, капая навязчивыми идеями.

V

У них часто стали бывать за чаем бельгийцы. Так они назывались. Так называл их отец, говоря: «Сегодня будут бельгийцы». Их было четверо. Безусый бывал редко и был неразговорчив. Иногда он приходил один ненароком, в будни, выбрав какое-нибудь нехоршее, дождливое время. Прочие трое были неразлучны. Лица их были похожи на куски свежего мыла, непчатого, из обертки, душистые и холодные. У одного была борода, густая и пушистая, и пушистые каштановые волосы. Они всегда являлись в обществе отца, с каких-то заседаний. В доме все их любили. Они говорили, будто проливали воду на скатерть: шумно, свежо и сразу, куда-то вбок, куда никто не ждал, с долго досыхавшими следами от своих шуток и анекдотов, всегда понятных детям, всегда утолявших жажду и чистых.

Вокруг возникал шум, блистала сахарница, никелевый кофейник, чистые крепкие зубы, плотное белье. Они любезно и учтиво шутили с матерью. Сослуживцы отца, они обладали очень тонким умением вовремя сдержать его, когда в ответ на их быстрые намеки и упоминания о делах и людях, известных за этим столом только им, профессионалам, отец начинал тяжело, на очень нечистом французском языке, пространно, с заминками говорить о контрагентурах, о *références approuvées* и о *férocités*, то есть *bestialités*, *ce que veut dire en russe*[4] – хищениях на благодати.

Безусый, ударившийся с некоторого времени в изучение русского языка, часто пробовал себя на этом новом поприще, но оно не держало его еще. Было неловко смеяться над французскими периодами отца, и всех его *férocités* не на шутку тяготили; но, казалось, само положение освящало тот хохот, которым покрывались Негаратовы попытки.

Звали его Негарат. Он был валлонец из фламандской части Бельгии. Ему рекомендовали Диких. Он записал его адрес по-русски, смешно выводя сложные буквы, как ю, я, ъ. Они у него выходили двойные какие-то, розные и растопыренные. Дети позволили себе встать на коленки на кожаные подушки кресел и положить локти на стол, – все стало дозволенным, все смешалось – ю было не ю, а какой-то десяткой; вокруг ревели и заливались, Эванс бил кулаком по столу и утирал слезы, отец трясся и, красный, похаживая по комнате, твердил: «Нет, не могу» и комкал носовой платок.

– *Faites de nouveau*, – поддавал жару Эванс. – *Commencez*[5].

И Негарат приоткрывал рот, медля, как заика, и обдумывая, как разродиться ему этим неисследимым, как колонии в Конго, русским «еры».

– *Dites*:[6] «увы, невыгодно», – спав с голоса, влажно и сипло предлагал отец.

– *Ouvoui, niévoui*.

– *Entends tu?*[7] – *ouvoui, niévoui – ouvoui, niévoui. Oui, oui*, – chose *inouïe, charmant*![8] – закатывались бельгийцы.

Лето прошло. Экзамены сданы были успешно, а иные и превосходно. Лился, как из ключей, холодный, прозрачный шум коридоров. Тут все знали друг друга. Желтел и золотился лист в саду. В его светлом пляшущем отблеске маялись классные стекла. Матовые вполонину, они туманились и волновались низами. Форточки сводило синей

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
судорогой. Их студеную ясность бороздили бронзовые ветки кленов.

Она не знала, что все ее волнения будут превращены в такую веселую шутку. Разделить это число аршин и вершков на семь! Стоило ли проходить доли, золотники, лоты, фунты и пуды{11}? Граны, драхмы, скрупулы и унции{12}, казавшиеся ей всегда четырьмя возрастными скорпиона? Отчего в слове «полезный» пишется «е», а не «ѣ»? Она затруднилась ответом только потому, что все ее силы соображения сошлись в усилении представить себе те неблагоприятные основания, по каким когда-либо в мире могло возникнуть слово «полезный», дикое и косматое в таком начертании. Ей осталось неизвестно, почему ее так и не отдали в гимназию тогда, хотя она была принята и зачислена, и уже кроилась кофейного цвета форма, и примерялась потом на булавах, скупое и докучное, часами; а в комнате у ней завелись такие горизонты, как сумка, пенал, корзиночка для завтраков и замечательно омерзительная снимка.

Посторонний

I
Девочка была с головой увязана в толстый шерстяной платок, доходивший ей до коленок, и курочкой похаживала по двору. Жене хотелось подойти к татарочке и заговорить с ней. В это время стукнули створки разлетевшегося оконца. «Колька!» – кликнула Аксиныя. Ребенок, походивший на крестьянский узел с наспех воткнутыми валенками, быстро просеменил в дворницкую.

Брать работу на двор всегда значило – затупив до утраты смысла какое-нибудь примечание к правилу, идти потом наверх, начинать все сызнова в комнатах. Они разом, с порога прохватывали особым полумраком и прохладой, особой, всегда неожиданной знакомостью, с какою мебелью, заняв раз навсегда предписанные места, на них оставалась. Будущего нельзя предсказать. Но его можно увидеть, войдя с воли в дом. Здесь налицо уже его план, то размещение, которому, непокорное во всем прочем, оно подчинится. И не было такого сна, навеянного движением воздуха на улице, которого бы живо не стряхнул бодрый и роковой дух дома, ударявший вдруг, с порога прихожей.

На этот раз это был Лермонтов. Женя мяла книжку, сложив ее переплетом внутрь. В комнатах она, сделай это Сережа, сама бы восстала на «безобразную привычку». Другое дело – на дворе.

Проход поставил мороженицу наземь и пошел назад в дом. Когда он отворил дверь в спицынские сени, оттуда повалил клубящийся дьявольский лай голеньких генеральских собачек. Дверь захлопнулась с коротким звонком.

Между тем Терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на спине{13}, продолжал реветь, как ему надлежало, и Женю стало брать сомнение только насчет того, точно ли на спине, не на хребте ли все это совершается. Справиться с книгой было лень, и золотые облака из южных стран, издавек, едва успев проводить его на север, уже встречали у порога генеральской кухни с ведром и мочалкой в руке.

Денщик поставил ведро, нагнулся и, разобрав мороженицу, принялся ее мыть. Августовское солнце, прорвав древесную листву, засело в крестце у солдата. Оно внедрилось, красное, в жухлое мундирное сукно и, как скипидаром, жадно его собой пропитало.

Двор был широкий, с замысловатыми закоулками, мудреный и тяжелый. Мощенный в середине, он давно не перемещивался, и бульжник густо порос плоской кудрявой травкой, издававшей в послеобеденные часы кислый лекарственный запах, какой бывает в зной возле больниц. Одним краешком, между дворницкой и каретником, двор примыкал к чужому саду.

Сюда-то, за дрова, и направилась Женя. Она подперла лестницу снизу плоскою полешкой, чтобы не сползла, утрясла ее на ходивших дровах и села на среднюю перекладину неудобно и интересно, как в дворовой игре. Потом поднялась и, взобравшись повыше, заложила книжку на верхний разоренный рядок, готовясь взяться за «Демона»; потом, найдя, что раньше лучше было сидеть, спустилась опять и забыла книжку на дровах и про нее не вспомнила, потому что теперь только заметила она по ту сторону сада то, чего не предполагала раньше за ним, и стала, разинув рот, как очарованная.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Кустов в чужом саду не было, и вековые деревья, унеся в высоту, к листве, как в какую-то ночь, свои нижние сучья, снизу оголяли сад, хоть он и стоял в постоянном полумраке, воздушном и торжественном, и никогда из него не выходил. Сохатые, лиловые в грозу, покрытые седым лишаем, они позволяли хорошо видеть ту пустынную, малоезжую улочку, на которую выходил чужой сад тою стороной. Там росла желтая акация. Теперь кустарник сох, скрючивался и осыпался.

Вынесенная мрачным садом с этого света на тот, глухая улочка светилась так, как освещаются происшествия во сне; то есть очень ярко, очень кропотливо и очень бесшумно, будто солнце там, надев очки, шарило в курслепе.

На что ж так зазевалась Женя? На свое открытие, которое занимало ее больше, чем люди, помогшие ей его сделать.

Там лавочка, стало быть? За калиткой, на улице. На такой улице! «Счастливые», – позавидовала она незнакомкам. Их было три.

Они чернелись, как слово «затворница» в песне. Три ровных затылка, зачесанных под круглые шляпы, склонились так, будто крайняя, наполовину скрытая кустом, спит, обо что-то облокотись, а две другие тоже спят, прижавшись к ней. Шляпы были черно-сизые, и гасли и сверкали на солнце, как насекомые. Они были обтянуты черным крепом. В это время незнакомки повернули головы в другую сторону. Верно, что-то в том конце улицы привлекло их внимание. Они поглядели с минуту на тот конец так, как глядят летом, когда мгновение растворено светом и удлинено, когда приходится щуриться и защищать глаза ладонью, – с такую-то минуту поглядели они и впали опять в прежнее состояние дружной сонливости.

Женя пошла было домой, но хватилась книжки и не сразу вспомнила, где книжка осталась. Она воротилась за ней, и когда зашла за дрова, то увидела, что незнакомки поднялись и собираются идти. Они поодиночке, друг за дружкой, прошли в калитку. За ними странно, увечной походкой следовал невысокий человек. Он нес под мышкой большущий альбом или атлас. Так вот чем занимались они, заглядывая через плечо друг дружке, а она думала – спят. Соседки прошли садом и скрылись за службами. Уже низилось солнце. Доставая книжку, Женя потревожила поленницу. Сажень пробудилась и задвигалась, как живая. Несколько поленьев съехало вниз и упало на дерн с легким стуком. Это послужило знаком, как сторожев удар в колотушку. Родился вечер. Родилось множество звуков, тихих, туманных. Воздух принялся насвистывать что-то старинное, заречное.

Двор был пуст. Прохор отработал. Он вышел за ворота. Там низко-низко, над самой травой, струнчато и грустно стлалось брэнчанье солдатской балалайки. Над ней вился и плясал, обрывался и падал, замирая в воздухе, и падал, и замирал, и потом, не достигнув земли, подымался ввысь тонкий рой тихой мошкеры. Но брэнчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле и, не запыхавшись, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, с припаданьями, не спеша.

Женя возвращалась в дом. «Хромой, – подумала она про незнакомца с альбомом, – хромой, а из господ, без костылей». Она пошла с черного хода. На дворе настойно и приторно пахло ромашкой. «С некоторых пор у мамы составилась целая аптека, масса синих склянок с желтыми шляпками». Она медленно подымалась по лестнице. Железные перила были холодны, ступеньки скрежетали в ответ на шарканье. Вдруг ей пришло в голову что-то странное. Она шагнула через две ступеньки и задержалась на третьей. Ей пришло в голову, что с недавнего времени между мамой и дворничихой завелось какое-то неуследимое сходство. В чем-то совсем неуловимом. Она остановилась. В чем-то таком, – она задумалась, – в таком, что ли, что имеют в виду, когда говорят: все мы люди... или одним, мол, миром мазаны... или судьба кости не разбирает, – она носком отбросила валявшуюся склянку, склянка полетела вниз, упала в пыльные кули и не разбилась, – в чем-то, словом, таком, что очень-очень общо, общо всем людям. Но тогда почему же не между ней самой и Аксиньей? или Аксиньей, положим, и Ульяшей? Это показалось Жене тем страннее, что трудно было найти более несхожих: в Аксинье было что-то земляное, как на огородах, нечто напоминавшее вздутье картофелины или празелень бешеной тыквы, тогда как мама... Женя усмехнулась одной мысли о сравнимости.

А между тем именно Аксинья задавала тон этому навязывавшемуся сравнению. Она брала перевес в этом сближении. От него не выигрывала баба, а проигрывала барыня. На мгновение Жене померещилось что-то дикое. Ей показалось, что в маму

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru вселилось какое-то начало простонародности, и она представила себе мать произносящей «щука» вместо «щука», «работам» вместо «работаем»; а вдруг – померещилось ей – придет день и в своем новом шелковом капоте без кушака, кораблем, она возьмет да и брякнет: «К дверьми прислонь!»?

В коридоре пахло лекарством. Женя прошла к отцу.

II

Обстановка обновлялась. В доме появилась роскошь. Люверсы завели коляску и стали держать лошадей. Кучера звали Давлетша.

Резиновые шины составляли тогда полную новость. На прогулках оборачивались и провожали коляску глазами все: люди, заборы, часовни, петухи.

Госпоже Люверс долго не отпирали, и пока коляска, из почтения к ней, удалялась шагом, она кричала им вслед:

– Далеко не катай! До шлагбаума и назад. Осторожней с горки.

А белесое солнце, достав ее с докторского крыльца, тянулось дальше, вдоль улицы, и, дотянувшись до тугой и веснушчатой, багровой Давлетшиной шеи, грело и ежило ее.

Они въехали на мост. Раздался разговор балок, лукавый, круглый и складный, сложенный некогда на все времена, свято зарубленный оврагом и памятный ему всегда, в полдень и в сон.

Выкормыш, взбираясь на гору, стал браться за срывистый, недававшийся кремень; он вытянулся, ему было неспособно, и вдруг, напомнив в этом карабкании ползущую саранчу, он, как и эта тварь, по природе летящая и скачущая, стал молниеносно красив в униженности своих неестественных усилий; вот-вот, казалось, он не стерпит, гневно сверкнет крылами и взлетит. И действительно, лошадь дернулась, кинула передними голяшками и короткой скачью понеслась по пустырям. Давлетша стал подбирать ее, укорачивая вожжи. На них дряхло, лохмато и притупленно залаяла собака. Пыль была как ружейный порох. Дорога круто сворачивала влево.

Черная улица тупиком упиралась в красный забор железнодорожного депо. Она полошилась. Солнце било сбоку из-за кустов и пеленало толпу странных фигурок в женских кофтах. Солнце окатывало их белым хлещущим светом, который, казалось, хлынул из сапогом опрокинутого ведра, как жидкая известка, и валом бежал по земле. Улица полошилась. Лошадь шла шагом.

– Свороти направо! – приказала Женя.

– Переезда не будет, – ответил Давлетша, кнутовищем показывая на красный конец, – тупик.

– Тогда стань, я погляжу.

– Это китайцы наши.

– Вижу.

Давлетша, поняв, что барышне говорить с ним неохота, пропел с оттяжкой «тпруу», и лошадь, колыхнув всем телом, стала, как вкопанная, а Давлетша засвистал тонко и заимчиво, с перерывами, понужая ее к чему надо.

Китайцы перебежали через дорогу, держа в руках громадные ржавые ковриги. Они были в синем и походили на баб в штанах. Непокрытые головы кончались у них узелком на темени и казались скрученными из носовых платков. Некоторые задерживались. Этим можно было разглядеть. Лица у них были бледные, землистые, склябящиеся. Они были смуглы и грязны, как медь, окисленная нуждой.

Давлетша вынул кисет и расположился делать свертыш. В это время из-за угла, оттуда, куда шли китайцы, вышло несколько женщин. Верно, и они шли за хлебом. Те, что были на дороге, стали гоготать и подбираться к ним, извиваясь так, как если бы у них руки были скручены веревкой за спину. Изгибистость их движений подчеркивалась тем в особенности, что по всему телу с ворота по самые щиколки

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
они были одеты во что-то одно, как акробаты. В этом не было ничего страшного; женщины не побежали прочь, а стали и сами, смеясь.

– Послушай, Давлетша, чего это ты?

– Лошадь рванула! рванула! не сто-ить! – раз к разу огревая Выкормыша вожжой, дергал и бросал Давлетша.

– Тише, вывалишь. Зачем хлещешь ее?

– Надо.

И только выехав в поле и успокоив лошадь, уже заплясавшую было, хитрый татарин, стрелюю вынесший барышню от зазорного зрелища, взял вожжи в правую руку и положил кисет, все время бывший у него в руке, за полу.

Они возвратились другой дорогой. Госпожа Люверс увидала их, вероятно, из докторского окошка. Она вышла на крыльцо в ту самую минуту, как мост, сказав им всю свою сказку, начал ее сызнова под телегой водовоза.

III

С Дефендовой, с девочкой, принесшей в класс рябины, наломанной дорогой в школу, Женя сошлась в один из экзаменов. Дочка псаломщика держала переэкзаменовку по-французски. Люверс Евгению посадили на первое свободное место. Так они и познакомились, сидев парой за одною фразой:

– Est-ce Pierre qui a volé la pomme?

– Oui. C'est Pierre qui vola... Etc[9].

То обстоятельство, что Женю оставили учиться дома, знакомству девочек конца не положило. Они стали встречаться. Встречи их, по милости маминих взглядов, были односторонни: Лизе разрешалось бывать у них, Жене заходить к Дефендовым пока что было запрещено.

Такая урывочность во встречах не помешала Жене быстро привязаться к подруге. Она влюбилась в Дефендову, то есть стала страдательным лицом в отношениях, их манометром, бдительным и разгоряченно-тревожным. Всякие Лизины упоминания про одноклассниц, неизвестных Жене, вызывали в ней чувство пустоты и горечи. У ней падало сердце: это были приступы первой ревности. Без поводов, силой одной своей мнительности убежденная в том, что Лиза хитрит, – наружно пряма, а в душе смеется надо всем, что есть в ней люверсовского, и за глаза, в классе и дома потешается этим, – Жена принимала это как должное, как нечто лежащее в природе привязанности. Ее чувство было настолько же случайно в выборе предмета, насколько в своем источнике отвечало властной потребности инстинкта, который не знает самолюбия и только и умеет, что страдать и жечь себя во славу фетиша, пока он чувствует впервые.

Ни Женя, ни Лиза ничем решительно друг на друга не влияли, и Женя Женей, Лиза Лизой они встречались и расставались, та с сильным чувством, эта – безо всякого.

Отец Ахмедьяновых торговал железом. В год между рождением Нуретдина и Смагила он неожиданно разбогател. Тогда Смагил стал зваться Самойлой, и сыновьям решено было дать русское воспитание. Отцом не была упущена ни одна особенность вольного барского быта, и за десятилетнюю гонку по всем статьям было перехвачено через край. Дети удались на славу, то есть пошли во взятый образчик, и шибкий размах отцовской воли остался в них, шумный и крушительный, как в паре закруженных и отданных на милость инерции маховиков. Самыми заправскими четвертоклассниками в четвертом классе были братья Ахмедьяновы. Они состояли из ломающегося мела, подстрочников, ружейной дробы, грохота парт, непристойных ругательств и шелушившейся в морозы, краснощекой и курносой самоуверенности. Сережа сдружился с ними в августе. К концу сентября у мальчика не стало лица. Это было в порядке вещей. Быть типическим гимназистом, а потом уже чем-нибудь еще – значило быть заодно с Ахмедьяновыми. А ничего так сильно не хотелось Сереже, как быть гимназистом.

Люверс не препятствовал дружбе сына. Он не видел перемены в нем, а если что и

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru замечал, то приписывал это действию переходного возраста. К тому же голова у него была занята другими заботами. С некоторых пор он стал догадываться, что болен и что его болезнь неизлечима.

IV

Ей было жаль не его, хотя все вокруг только и говорили, что как это в самом деле до невероятности некстати и досадно. Негарат был слишком мудрен и для родителей, а все, что чувствовалось родителями в отношении чужих, смутно передавалось и детям, как домашним избалованным животным. Женю печалило только то, что теперь не все останется по-прежнему, и станет бельгийцев трое, и не будет больше такого смеха, как бывало раньше.

Она случилась за столом в тот вечер, когда он объявил маме, что должен ехать в Дижон, на отбывку какого-то сбора.

– Как же вы в таком случае еще молоды! – сказала мать и тут же ударилась на все лады его жалеть.

А он сидел, понуря голову. Разговор не клеился.

– Завтра придут замазывать окна, – сказала мать и спросила его, не закрыть ли.

Он сказал, что не надо, вечер теплый, а у них не замазывают и на зиму.

Вскоре подошел и отец. Он тоже рассыпался сожалениями при этой весте. Но перед тем как приняться сетовать, он приподнял брови и удивленно спросил:

– В Дижон? Да разве вы не бельгиец?

– Бельгиец, но во французском подданстве.

И Негарат стал рассказывать историю переселения «своих стариков» так занимательно, будто не был их сыном, и так тепло, будто говорил по книжке о чужих.

– Простите, я вас перебую, – сказала мать. – Женюра, ты все-таки притвори окошко. Вика, завтра придут замазывать. Ну, продолжайте. Однако этот дядя ваш порядочный негодяй! Неужели так, буквально под присягой?

– Да.

И он вернулся к прерванной повести. Когда же он дошел до дела, до бумаги, полученной им вчера по почте из консульства, то догадался, что девочка тут не понимает ничего и силится понять. Тогда он повернулся к ней и стал объяснять, – и виду не показывая, какая у него цель, чтобы не задеть ее самолюбия, – что эта воинская повинность за штука. «Да, да. Понимаю. Да. Понимаю, понимаю», – благодарно и машинально твердила девочка.

– Зачем ехать так далеко? Будьте солдатом тут, учитесь, где все, – поправилась она, ярко представив себе луга, открывавшиеся с монастырской горки.

«Да, да. Понимаю. Да, да, да», – опять зарядила девочка, а Люверсы, сидевшие без дела и находившие, что бельгиец забивает ребенку голову ненужными подробностями, вставляли свои сонные и упрощающие замечания. И вдруг наступила та минута, когда ей стало жалко всех тех, что давно когда-то или еще недавно были Негаратами в разных далеких местах и потом, распростясь, пустились в нежданный, с неба свалившийся путь сюда, чтобы стать солдатами тут, в чужом им Екатеринбурге.

Так хорошо разъяснил девочке все этот человек. Так не растолковывал ей еще никто. Налет бездушья, потрясающий налет наглядности, сошел с картины белых палаток; роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил.

Они прощались.

– Часть книг я оставлю у Цветкова. Это тот приятель, о котором я вам столько рассказывал. Пожалуйста, пользуйтесь ими и дальше, madame. Ваш сын знает, где я

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
живу, он бывает в семье домовладельца, а свою комнату я передаю Цветкову. Я его предупрежу.

– Пусть заходит. Цветков, вы говорите?

– Цветков.

– Пусть заходит. Познакомимся. В ранней молодости я знавала таких, – и она посмотрела на мужа, который остановился перед Негаратом, заложив руки за борт плотного пиджака, и рассеянно дождался удобного оборота, чтобы условиться с бельгийцем окончательно насчет завтрашнего. – Пусть заходит. Только не теперь. Я позову. Да, возьмите, это ваша. Я не кончила. Читала и плакала. Доктор вообще советовал бросить. Во избежание волнения.

И она опять посмотрела на мужа, который опустил голову и стал, хрустя воротником и пыжась, интересоваться, на обеих ли ногах у него сапоги и хорошо ли вычищены.

– Так-то. Ну вот. Не забудьте трость. Мы еще увидимся, надеюсь?

– О, конечно. До пятницы ведь. Сегодня какой день? – испугался он, как в таких случаях пугаются уезжающие.

– Среда. Вика, среда?.. Вика, среда?

– Среда. Ecoutez, – дождался наконец своего черед а отец, – demain[10].

И оба вышли на лестницу.

V

Они шли и разговаривали, и ей приходилось время от времени впадать в легкий бежок, чтобы не отстать от Сережи и попасть ему в шаг. Они шли очень шибко, и на ней ерзало пальто, потому что в помощь ходу она работала и руками, а руки держала в карманах. Было холодно, под ее калошами звонко лопался тонкий ледок. Они шли по маминому поручению покупать подарок уезжавшему и разговаривали.

– Так его везли на станцию?

– Да.

– А почему он сидел в сене?

– То есть как?

– В телеге. Весь. С ногами. Так не сидят.

– Я уже сказал. Потому что это уголовный преступник.

– Его везут на каторгу?

– Нет. В Пермь. У нас нет тюремного ведомства. Гляди под ноги.

Их путь лежал через дорогу, мимо медно-слесарного заведения. Все лето двери заведения стояли настежь, и Женя привыкла видеть этот перекресток в том дружном и общем оживлении, которым его наделяла жарко запахнутая пасть мастерской. Весь июль, август и сентябрь тут останавливались повозки, затрудняя разъезд; топтались мужики, больше татары; валялись ведра, куски кровельных желобов, рваные и ржавленные; тут чаще, чем где-нибудь еще, превратив толпу в табор, а татар замалевав в цыган, садилось в пыль жуткое, густое солнце в часы, когда за плетнем по соседству резали цыплят; тут окунались оглоблями в пыль высвобожденные из-под кузовов передки с натертыми у шкворней{14} кружками.

Те же ведра и железца лежали неподобные и теперь, запорошенные морозцем. Но двери были приперты вплотную, как в праздник, по случаю холодов, и было пустынно на распутьи, и только сквозь круглую отдушину шел знакомый Жене дух какого-то рудничного затхлого газа, который заливался гремучим визгом и, ударяя в нос, осаждался на небе дешевой грушевой шипучкой.

– А в Перьми есть тюремное правление?

– Да. Ведомство. По-моему – так идти. Ближе. В Перми есть, потому что это губернский город, а Екатеринбург – уездный. Маленький.

Дорожка мимо особняков была выложена красным кирпичиком и обрамлена кустами. На ней обозначались следы бессильного, мутного солнца. Сережа старался шагать как можно шумней.

– Если щекотать этот барбарис весной, когда он цветет, булавкой, он быстро хлопает всеми лепестками, как живой.

– Знаю.

– А ты боишься щекотки?

– Да.

– Значит, ты – нервная. Ахмедьяновы говорят, что если кто боится щекотки...

И они шли: Женя – бегом, Сережа – неестественными шагами, и на ней ерзало пальто. Они завидели Диких в ту самую минуту, как калитка, турникетом ходившая на столбе, врытом поперек дорожки, задержала их. Они завидели его издали, он вышел из того самого магазина, до которого им оставалось еще с полквартала. Диких был не один, вслед за ним вышел невысокий человек, который, ступая, старался скрыть, что припадает на ногу. Жене показалось, что она уже видела его где-то раз. Они разминулись не здоровавшись. Те взяли наискосок. Диких детей не заметил, он шагал в глубоких калошах и часто подымал руки с растопыренными пальцами. Он не соглашался и доказывал всеми десятью, что собеседник его... (Но где ж это она его видела? Давно. Но где? Верно, в Перми, в детстве.)

– Постой! – У Сережи случилась неприятность. Он опустился на одно колено. – Погоди.

– Зацепил?

– Ну да. Идиоты, не могут толком гвоздя забить!

– Ну?

– Погоди, не нашел где. Я знаю того хромого. Ну вот. Слава богу.

– Разорвал?

– Нет, цела, слава богу. А в подкладке дыра – это старая. Это не я. Ну, пойдём. Стой, вот только коленку вычищу. Ну ладно, пошли.

– Я его знаю. Это – с Ахмедьянова двора. Негаратов. Помнишь, я рассказывал, – собирает людей, всю ночь пьют, свет в окне. Помнишь? Помнишь, когда я у них ночевал? В Самойлове рождение. Ну, вот из этих. Помнишь?

Она помнила. Она поняла, что ошиблась, что в таком случае хромой не мог быть виден ею в Перми, что ей так померещилось. Но ей продолжало казаться, и в таких чувствах, молчаливая, перебирая в памяти все пермское, она вслед за братом произвела какие-то движения, за что-то взялась и что-то перешагнула и, осмотревшись по сторонам, очутилась в полусумраке прилавков, легких коробок, полок, суетливых приветствий и услуг – и... говорил Сережа.

Названия, которое им требовалось, у книгопродавца, торговавшего всех сортов табаками, не оказалось, но он успокоил их, заверив, что Тургенев обещан ему, выслан из Москвы и уже в пути и что он только что – ну, назад минуту – говорил об атом же самом с господином Цветковым, их наставником. Детей рассмешила его верткость и то заблуждение, в котором он находился, и, попрощавшись, они пошли ни с чем.

Когда они вышли от него, Женя обратилась к брату с таким вопросом:

– Сережа! Я все забываю. Скажи, знаешь ты ту улицу, которую с наших дров видать?

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

– Нет. Никогда не бывал.

– Неправда, я сама тебя видала.

– На дровах? Ты...

– Да нет, не на дровах, а на той вот улице, за Череп-Саввичевским садом.

– А, ты вот о чем! А ведь верно. Как мимо идти, показываются. За садом, в глубине. Там сарай какие-то и дрова. Погоди. Так это, значит, наш двор?! Тот двор наш? Вот ловко! А я сколько раз хожу, думал, вот бы туда забраться – раз, и на дрова, а с дров на чердак, там лестницу я видел. Так это наш собственный двор?

– Сережа, покажешь мне дорогу туда?

– Опять. Ведь двор – наш. Чего показывать? Ты сама...

– Сережа, ты опять не понял. Я про улицу, а ты про двор. Я про улицу. На улицу покажи дорогу. Покажи, как пройти. Покажешь, Сережа?

– И опять не пойму. Да ведь мы сегодня шли... и вот опять скоро мимо идти.

– Что ты?

– Да то. А медник?.. На углу.

– Так та пыльная, значит...

– Ну да, она самая, про которую спрашиваешь. А Череп-Саввичи – в конце, направо. Не отставай, не опоздать бы к обеду. Сегодня раки.

Они заговорили о другом. Ахмедьяновы обещали научить его лудить самовары. А что касается до ее вопроса о «полуде», то это такая горная порода, одним словом, руда, вроде олова, тусклая. Ею паяют жестянки и обжигают горшки, и Ахмедьяновы все это умеют.

Им пришлось перебежать, а то обоз задержал бы их. Так они забыли: она – про свою просьбу насчет малоезжей улочки, Сережа – про свое обещание ее показать. Они прошли мимо самой двери заведения, и тут, дохнув теплого и сального чада, какой бывает при чистке медных ручек и подсвечников, Женя моментально вспомнила, где видела хромого и трех незнакомок и что они делали, и в следующую же минуту поняла, что тот Цветков, о котором говорил книгопродавец, и есть этот самый хромо́й.

VI

Негарт уезжал вечером. Отец поехал его провожать. С вокзала он вернулся поздно ночью, и в дворницкой его появление вызвало большой и не скоро улегшийся переполох. Выходили с огнями, кого-то кликали. Лил дождь, и гоготали кем-то упущенные гуси.

Утро встало пасмурное и трясущееся. Серая мокрая улица прыгала, как резиновая, болтался и брызгал грязью гадкий дождик, подскакивали повозки, и шлепали, переходя через мостовую, люди в калошах.

Женя возвращалась домой. Отголоски ночного переполоха еще сказывались на дворе и утром: в коляске ей было отказано. Она пустилась к подруге пешком, сказав, что пойдет в лавку за конопляным семенем. Но с полдороги, убедясь, что из торговой части ей одной к Дефендовым пути не найти, она повернула назад. Потом она вспомнила, что дело раннее и Лиза все равно в школе. Она порядком вымокла и продрогла. Погода разгуливалась. Но еще не прояснило. По улице летал и листом приставал к мокрым плитам холодный белый блеск. Мутные тучи торопились вон из города, теснясь и ветрено, панически волнуясь в конце площади, за трехруким фонарем.

Переезжавший был, верно, человек неряшливый или без правил. Принадлежности небогатого кабинета были не погружены, а просто поставлены на полку, как стояли в комнате, и колеса кресел, глядевшие из-под белых чехлов, ездили по полку, как

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru по паркету, при всяком сотрясении воза. Чехлы были белоснежны, несмотря на то, что были промочены до последней нитки. Они так резко бросались в глаза, что при взгляде на них одного цвета становились: обглоданный непогодой бульжник, продроглая подзаборная вода, птицы, летевшие с конных дворов, летевшие за ними деревья, обрывки свинца и даже тот фикус в кадучке, который колыхался, нескладно кланяясь с телеги всем пролетающим.

Воз был дик. Он невольно останавливал на себе внимание. Мужик шел рядом, и полук, широко кренясь, подвигался шагом и задевал за тумбы. А надо всем каркающим лоскутом носилось мокрое и свинцовое слово: город, порождая в голове у девочки множество представлений, которые были мимолетны, как летавший по улице и падавший в воду октябрьский холодный блеск.

«Он простудится, только разложит вещи», – подумала она про неизвестного владельца. И она представила себе человека, – человека вообще, валкой, на шаги разрозненной походкой расставляющего свои пожитки по углам. Она живо представила себе его хватки и движения, в особенности то, как он возьмет тряпку и, ковыляя вокруг кадки, станет обтирать затуманенные изморосью листья фикуса. А потом схватит насморк, озноб и жар. Непременно схватит. Женя и это представила очень живо себе. Очень живо. Воз загромычал под гору к Исети. Жене было налево.

Это происходило, верно, от чьих-то тяжелых шагов за дверью. Подымался и опускался чай в стакане на столике у кровати. Подымался и опускался ломтик лимона в чаю. Качались солнечные полосы на обоях. Они качались столбами, как колонки с сиропом, в лавках за вывесками, на которых турок курит трубку. На которых турка... курит... трубку. Курит... трубку.

Это происходило, верно, от чьих-то шагов. Больная опять заснула.

Женя слегла на другой день после отъезда Негарата; в тот самый день, когда узнала после прогулки, что ночью Аксинья родила мальчика, в тот день, когда при виде воза с мебелью она решила, что собственника подстерегает ревматизм. Она провела две недели в жару, густо по поту обсыпанная трудным красным перцем, который жег и слипал ей веки и краешки губ. Ее дожимала испарина, и чувство безобразной толстоты мешалось с ощущением укуса. Будто пламя, раздувшее ее, было в нее влито летней осой. Будто тонкое, в седой волосок, ее жальце осталось в ней, и его хотелось вынуть, не раз и по-разному. То из лиловой скулы, то из охавшего под рубашкой воспаленного плеча, то еще откуда.

Теперь она выздоравливала. Чувство слабости сказывалось во всем. Чувство слабости, например, предавалось, на свой риск и страх, какой-то странной своей геометрии. От нее слегка кружило и поташнивало.

Начав, например, с какого-нибудь эпизода на одеяле, чувство слабости принималось наслаивать на него ряды постепенно росших пустот, скоро становившихся невероятными в стремлении сумерек принять форму площади, лежащей в основании этого помешательства пространства. Или, отделясь от узора на обоях, оно, полосу к полосе, прогоняло перед девочкой широты, плавно, как на масле, сменявшие друг друга и тоже, как все эти ощущения, истомлявшие правильным, постепенным приростом в размерах. Или оно мучило больную глубинами, которые спускались без конца, выдав с самого же начала, с первой штуки в паркете, свою бездонность, и пускало кровать ко дну тихо-тихо, и с кроватью – девочку. Ее голова попадала в положение куска сахара, брошенного в пучину пресного, потрясающе пустого хаоса, и растворялась, и расструивалась в нем.

Это происходило от повышенной чувствительности ушных лабиринтов.

Это происходило от чьих-то шагов. Опускался и подымался лимон. Подымалось и опускалось солнце на обоях.

Наконец она проснулась. Вошла мать и, поздравив ее с выздоровлением, произвела на девочку впечатление читающего в чужих мыслях. Просыпаясь, она уже слышала что-то подобное. Это было поздравление ее собственных рук и ног, локтей и коленок, которое она от них, потягиваясь, принимала. Их-то приветствие и разбудило ее. Вот и мама тоже. Совпадение было странно.

Домашние входили и выходили, садились и подымались. Она задавала вопросы и

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru получала ответы. Были вещи, переменявшиеся за ее болезнь, были оставшиеся без перемены. Этим она не трогала, тех не оставляла в покое. По-видимому, не изменилась мама. Совсем не изменился отец. Изменились: она сама, Сережа, распределение света по комнате, тишина всех остальных, еще что-то, много чего. Выпал ли снег? Нет, перепадал, таял, подмораживало, не разберешь что, голо, бесснежье. Она едва замечала, кого о чем спрашивает. Ответы бросались наперебой.

Здоровые приходили и уходили. Пришла Лиза. Препирались. Потом вспомнили, что корь не повторяется, и впустили. Побывал Диких. Она едва замечала, от кого какие идут ответы.

Когда все вышли обедать и она осталась одна с Ульяшей, она вспомнила, как рассмеялись все тогда на кухне глупому ее вопросу. Теперь она остереглась задавать подобный. Она задала умный и дельный, тоном взрослой. Она спросила, не беременна ли опять Аксинья. Девушка звякнула ложечкой, убирая стакан, и отвернулась.

– Ми-ил!.. Дай отдохнуть. Не завсе ж ей, Женечка, в один уповод...

И выбежала, плохо притворив дверь, и кухня грянула вся, будто там обвалились полки с посудой, и за хохотом последовало голошенье, и бросилось в руки поденщице и Галиму, и загорелось под руками у них, и забрякало, проворно и с задором, будто с побранок бросились драться, а потом кто-то подошел и притворил забытую дверь.

Этого спрашивать не следовало. Это было еще глупее.

VII

Что это, никак, опять тает? Значит, и сегодня выедут на колесах и в сани все еще нельзя закладывать? С холодеющим носом и зябнущими руками Женя часами простаивала у окошка. Недавно ушел Диких. Нынче он остался недоволен ею. Изволь учиться тут, когда по дворам поют петухи и небо гудет, а когда сдает звон, петухи опять за свое берутся. Облака облезлые и грязные, как плешивая полость. День тычется рылом в стекло, как телок в парном стойле. Чем бы не весна? Но с обеда воздух, как обручем, перехватывает сизую стужей, небо вбирается и впадает, слышно, как с присвистом дышат облака; как, стремя к зимним сумеркам, на север, обрывают пролетающие часы последний лист с деревьев, выстригают газоны, колют сквозь щели, режут грудь. Дула северных недр чернеют за домами; они наведены на их двор, заряженные огромным ноябрем. Но все октябрь еще только.

Но все еще только октябрь. Такой зимы не запомнят. Говорят, погибли озими и боятся голодов. Будто кто взмахнул и обвел жезлом трубы, и кровли, и скворешницы. Там будет дым, там – снег, здесь – иней. Но нет еще ни того, ни другого. Пустынные, осунувшиеся сумерки тоскуют по ним. Они напрягают глаза, землю ломит от ранних фонарей и огня в домах, как ломит голову при долгих ожиданиях от тоскливого вперенья глаз. Все напряглось и ждет, дрова разнесены уже по кухням, снегом уже вторую неделю полны тучи через край, мраком чреват воздух. Когда же он, чародей, обведший все, что видит глаз, колдовскими кругами, произнесет свое заклятие и вызовет зиму, дух которой уже при дверях?

Как же, однако, они его запустили! Правда, на календарь в классной не обращали внимания. Отрывался ее, детский.

Но все же! Двадцать девятое августа! Ловко! – как сказал бы Сережа. Красная цифра. Усекновение главы Иоанна Предтечи{15}. Он снимался легко с гвоздя. От нечего делать она занялась отрыванием листков. Она производила эти движения, скучая, и вскоре перестала понимать, что делает, но от поры до поры повторяла про себя: «Тридцатое, завтра – тридцать первое».

– Она уж третий день никуда из дому!..

Эти слова, раздавшиеся из коридора, вывели ее из задумчивости, она увидела, как далеко зашла в своем занятии. За самое Введение{16}. Мать дотронулась до ее руки.

– Скажи на милость, Женя...

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Дальнейшее пропало, как несказанное. Матери вперебой, словно со сна, дочь попросила госпожу Люверс произнести: «Усекновение главы Иоанна Предтечи». Мать повторила, недоумевающая. Она не сказала: «Предтеча». Так говорила Аксинья.

В следующую же минуту Женю взяло диво на самое себя. Что это было такое? Кто подтолкнул? Откуда взялось? Это она, Женя, спросила? Или могла она подумать, чтоб мама?.. Как сказочно и неправдоподобно! Кто сочинил?..

А мать все стояла. Она ушам не верила. Она глядела на нее широко раскрытыми глазами. Эта выходка поставила ее в тупик. Вопрос походил на издевку; между тем в глазах у дочки стояли слезы.

Смутные ее предчувствия сбылись. На прогулке она ясно слышала, как смягчается воздух, как мякнут тучи и мягчеет чок подков. Еще не зажигали, когда в воздухе стали, вьясь, блуждать сухие серенькие пушинки. Но не успели они выехать за мост, как отдельных снежинок не стало и повалил сплошной, сплывшийся лепень. Давлетша слез с козел и поднял кожаный верх. Жене с Сережей стало темно и тесно. Ей захотелось бесноваться на манер беснующейся вокруг непогоды. Они заметили, что Давлетша везет их домой только потому, что опять услышали мост под выкормышем. Улицы стали неузнаваемы: улиц просто не стало. Сразу наступила ночь, и город, обезумев, зашевелил несметными тысячами толстых побелевших губ. Сережа подался наружу и, упершись в колено, приказал везти к ремесленному. Женя замерла от восхищения, узнав все тайны и прелести зимы в том, как прозвучали на воздухе Сережины слова. Давлетша кричал в ответ, что домой ехать надо, чтобы не замутить лошади, господя собираются в театр, придется перекладать в сани. Женя вспомнила, что родители уедут и они останутся одни. Она решила усесться до поздней ночи поудобней за лампой с тем томом «Сказок Кота-Мурлыки»^{17}, что не для детей. Надо будет взять в маминой спальне. И шоколаду. И читать, посасывая, и слушать, как будет заметать улицы.

А мело уже, и не на шутку, и сейчас. Небо тряслось, и с него валились белые царства и края, им не было счета, и они были таинственны и ужасны. Было ясно, что эти, неведомо откуда падавшие страны никогда не слышали про жизнь и про землю и, полуночные, слепые, засыпали ее, ее не видя и не зная.

Они были упоительно ужасны, эти царства; совершенно сатанински восхитительны. Женя захлебывалась, глядя на них. А воздух шатался, хватаясь за что попало, и далеко-далеко больно-пребольно взывали будто плетью огретье поля. Все смешалось. Ночь ринулась на них, свирепея от низко сбившегося седого волоса, засекавшего и слепившего ее. Все поехало врозь, с визгом, не разбирая дороги. Окрик и отклик пропадали не встретясь, гибли, занесенные вихрем на разные крыши. Мело.

Они долго топали в передней, сбивая снег с белых опухлых полушубков. А сколько воды натекло с калош на клетчатый линолеум! На столе валялось много яичной скорлупы, и перечница, вынутая из судка, не была поставлена на место, и много перцу было просыпано на скатерть, на вытекшие желтки и в жестянку с недоеденными «серединками». Родители уже отужинали, но сидели еще в столовой, поторапливая замешкавшихся детей. Их не винули. Ужинали раньше времени, собираясь в театр. Мать колебалась, не зная, ехать ли ей или нет, и сидела грустная-грустная. При взгляде на нее Женя вспомнила, что и ей ведь, собственно говоря, вовсе не весело, – она расстегнула наконец этот противный крючок, – а скорее грустно, и, войдя в столовую, она спросила, куда убрали ореховый торт. А отец взглянул на мать и сказал, что никто не неволит их и тогда лучше дома остаться.

– Нет, зачем же, поедем, – сказала мать, – надо рассеяться; ведь доктор позволил.

– Надо решить.

– А где же торт? – опять ввязалась Женя и услышала в ответ, что торт не убежит, что до торта тоже есть что кушать, что не с торта же начинать, что он в шкапу; будто она только к ним приехала и порядков их не знает. Так сказал отец и, снова обратившись к матери, повторил:

– Надо решить.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

– Решено, едем. – И, грустно улынувшись Жене, мать пошла одеваться.

А Сережа, постукивая ложечкой по яйцу и глядя, чтобы не попасть мимо, деловито, как занятый, предупредил отца, что погода переменялась – метель, чтобы он имел это в виду, и он рассмеялся; с оттаивавшим носом у него творилось что-то неладное; он стал ерзать, доставая платок из кармана тесных форменных брюк; он высморкался, как его учил отец, «без вреда для барабанных перепонок», взялся за ложечку и, взглянув прямо на отца, румяный и умытый прогулкой, сказал:

– Как выезжать, мы видали Негаратова знакомого. Знаешь?

– Эванса? – рассеянно уронил отец.

– Мы не знаем этого человека, – горячо выпалила Женя.

– Вика! – послышалось из спальни.

Отец встал и ушел на зов. В дверях Женя столкнулась с Ульяшей, несшей к ней зажженную лампу. Вскоре рядом хлопнула соседняя. Это прошел к себе Сережа. Он был превосходен сегодня; сестра любила, когда друг Ахмедьяновых становился мальчиком, когда про него можно было сказать, что он в гимназическом костюмчике.

Ходили двери. Топали в ботах. Наконец сами уехали.

Письмо извещало, что она «дононь не была недотыкой, и чтоб, как и допрежь, просили, чего надоть»; а когда милая сестрица, увешанная поклонами и заверениями в памяти, пошла по родне распределять их поименно, Ульяша, оказавшаяся на этот раз Ульяной, поблагодарила барышню, прикрутила лампу и ушла, захватив письмо, пузырек с чернилами и остаток промасленной осьмушки.

Тогда она опять принялась за задачу. Она не заключила периода в скобки. Она продолжала деление, выписывая период за периодом. Этому не предвиделось конца. Дробь в частном росла и росла. «А вдруг корь повторяется? – мелькнуло у ней в голове. – Сегодня Диких говорил что-то про бесконечность». Она перестала понимать, что делает. Она чувствовала, что нынче днем с ней уже было что-то такое, и тоже хотелось спать или плакать, но сообразить, когда это было и что именно, не могла, потому что сообразать была не в силах. Шум за окном утихал. Метель постепенно унималась. Десятичные дроби были ей в полную новинку. Справа не хватало полей. Она решила начать сызнова, писать мельче и поверять каждое звено. На улице стало совсем тихо. Она боялась, что забудет занятое у соседней цифры и не удержит произведения в уме. «Окно не убежит, – подумала она, продолжая лить тройки и семерки в бездонное частное, – а их я вовремя услышу: кругом тишина; подымутся не скоро: в шубах, и мама беременна; но вот в чем штука: 3773 повторятся, можно просто переписывать или сводить». Вдруг она припомнила, что Диких ведь и впрямь говорил ей нынче, что «не надо делать, а просто бросать прочь их». Она встала и подошла к окну.

На дворе прояснилось. Редкие хлопья приплывали из черной ночи. Они подплывали к уличному фонарю, оплывали его и, вильнув, пропадали из глаз. На их место подплывали новые. Улица блистала, устланная снежным, санным ковром. Он был бел, сиятелен и сладостен, как пряники в сказках. Женя постояла у окна, заглядевшись на те кольца и фигуры, которые выделяли у фонаря андерсеновские серебристые снежинки. Постояла-постояла и пошла в мамину комнату за «Котом». Она вошла без огня. Было видно и так. Кровля сарая обдавала комнату движущимся сверканием. Кровати леденели под вздохом этой громадной крыши и поблескивали. Здесь лежал в беспорядке разбросанный дымчатый шелк. Крошечные блузки издавали гнетущий и теснящий запах подмышников и коленкора. Пахло фиалкой, и шкаф был иссиня-черен, как ночь на дворе и как тот сухой и теплый мрак, в котором двигались эти леденеющие блистания. Одинокою бусиной сверкал металлический шар кровати. Другой был угашен наброшенной рубашкой. Женя прищурила глаза, бусина отделилась от полу и поплыла к гардеробу. Женя вспомнила, за чем пришла. С книжкой в руках она подошла к одному из окон спальни. Ночь была звездная. В Екатеринбурге наступила зима. Она взглянула во двор и стала думать о Пушкине. Она решила попросить репетитора, чтобы он ей задал сочинение об Онегине.

Сереже хотелось поболтать. Он спросил:

– Ты надушилась? Дай и мне.

Он был очень мил весь день. Очень румян. Она же подумала, что другого такого вечера, может, не будет. Ей хотелось остаться одной.

Женя воротилась к себе и взялась за «Сказки». Она прочла повесть и принялась за другую, затаив дыхание. Она увлеклась и не слыхала, как за стеной укладывался брат. Странная игра овладела ее лицом. Она ее не сознавала. То оно у ней расплывалось по-рыбьему, она вешала губу, и помертвевшие зрачки, прикованные ужасом к странице, отказывались подняться, боясь найти это самое за комодом. То вдруг принималась она кивать печати, сочувственно, словно одобряя ее, как одобряют поступок и как радуются обороту дел. Она замедляла чтение над описаниями озер и бросалась сломя голову в гущу ночных сцен с куском обгорающего бенгальского огня, от которого зависело их освещение. В одном месте заблудившийся кричал с перерывами, вслушиваясь, не будет ли отклика, и слышал отклик эхо. Жене пришлось откашляться с негомого надсада гортани. Нерусское имя «Мирры» вывело ее из оцепенения. Она отложила книгу в сторону и задумалась. «Вот какая зима в Азии! Что теперь делают китайцы в такую темную ночь?» Взгляд Жени упал на часы. «Как, верно, жутко должно быть с китайцами в такие потемки». Женя опять перевела взгляд на часы и ужаснулась. С минуты на минуту могли явиться родители. Был уже двенадцатый час. Она расшнуровала ботинки и вспомнила, что надо отнести на место книжку.

Женя вскочила. Она присела на кровати, тараща глаза. Это не вор. Их много, и они топчут и говорят громко, как днем. Вдруг, как зарезанный, кто-то закричал на голос, и что-то поволочили, опрокидывая стулья. Это кричала женщина. Женя понемногу признала всех; всех, кроме женщины. Поднялась невероятная беготня. Стали хлопать двери. Когда захлопывалась одна, дальняя, то казалось, что женщине затыкают рот. Но она снова распахивалась, и дом ошпаривало жгучим, полосующим визгом. Волосы встали дыбом у Жени: женщина была мать; она догадалась. Причитала Ульяша, и, раз уловив голос отца, она его более не слыхала. Куда-то вталкивали Сережу, и он орал: «Не смей на ключ!» – «Все – свои», – и, как была, Женя босиком, в одной рубашонке бросилась в коридор. Отец чуть не опрокинул ее. Он был еще в пальто и что-то, пробегая, кричал Ульяше.

– Папа!

Она видела, как побежал он назад с мраморным кувшином из ванной.

– Папа!

– Где Липа? – не своим голосом крикнул он на бегу.

Плеща на пол, он скрылся за дверью, и когда через мгновение высунулся в манжетах и без пиджака, Женя очутилась на руках у Ульяши и не услышала слов, произнесенных тем отчаянно глубоким, истощенным шепотом:

– Что с мамой?

Вместо ответа Ульяша твердила в одно:

– Нельзя, Женечка, нельзя, милая, спи, усни, укройся, ляжь на бочок. А-ах, о господи!.. ми-ил! Нельзя, нельзя, – приговаривала она, укрывая ее, как маленькую, и собираясь уйти.

«Нельзя, нельзя», а чего нельзя – не говорила, и лицо у ней было мокро, и волосы растрепались. В третьей двери за ней щелкнул замок.

Женя зажгла спичку, чтобы посмотреть, скоро ли светать будет. Был первый всего час. Это ее очень удивило. Неужто она и часу не спала? А шум не унимался там, на родительской половине. Вопли лопались, вылупливались, стреляли. Потом на короткое мгновение наступала широкая, вековечная тишина. В нее упали торопливые шаги и частый, осторожный говор. Потом раздался звонок, потом другой. Потом слов, споров и приказаний стало так много, что стало казаться, будто комнаты отгорают там, в голосах, как столы под тысячей угасших канделябров.

Женя заснула. Она заснула в слезах. Ей снилось, что – гости. Она считает их и все обсчитывается. Всякий раз выходит, что одним больше. И всякий раз при этой

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
ошибке ее охватывает тот самый ужас, как когда она поняла, что это не еще кто, а
мама.

Как было не порадоваться чистому и ясному утру! Сереже мерещились игры на дворе,
снежки, сражения с дворовыми ребятами. Чай им подали в классную. Сказали – в
столовой полотеры. Вошел отец. Сразу стало видно, что о полотерах он ничего не
знает. Он и точно не знал о них ничего. Он сказал им истинную причину
перемещения. Мать захворала. Нуждается в тишине.

Над белой пеленой улицы с вольным, разносчивым карканьем пролетели вороны. Мимо
пробежали санки, подталкивая лошадку. Она еще не свыклась с новой упряжкой и
сбивалась с шагу.

– Ты поедешь к Дефендовым, я уже распорядился. А ты...

– Зачем? – перебила его Женя.

Но Сережа догадался – зачем, и предупредил отца.

– Чтоб не заразиться... – вразумил он сестру.

Но с улицы не дали ему кончить. Он подбежал к окошку, будто его туда поманули.
Татарин, вышедший в обнове, был казист и наряжен, как фазан. На нем была баранья
шапка. Нагольная овчина горела жарче сафьяна. Он шел с перевалкой, покачиваясь,
и оттого, верно, что малиновая роспись его белых пим ничего не ведала о строеньи
человеческой ступни, так вольно разбежались эти разводы, мало заботясь о том,
ноги ли то, или чайные чашки, или крыльцовые кровельки. Но всего замечательнее,
– в это время стоны, слабо доносившиеся из спальни, усилились, и отец вышел в
коридор, запретив им следовать за собою, – но всего замечательнее были следки,
которые он узенькой и чистой низкою вывел по углаженной полянке. От них, лепных
и опрятных, еще белей и атласней казался снег.

– Вот письмецо. Ты отдашь его Дефендову. Самому. Понимаешь? Ну, одевайтесь. Вам
сейчас сюда принесут. Вы выйдете с черного хода. А тебя Ахмедьяновы ждут.

– Уж и ждут? – насмешливо переспросил сын.

– Да. Вы оденетесь в кухне.

Он говорил рассеянно и не спеша проводил их на кухню, где на табурете горой
лежали их полушубки, шапки и варежки. С лестницы подвевало зимним воздухом.
«Эйиох!» – остался в воздухе студёный вскрик пронесшихся санков. Они торопились
и не попадали в рукава. От вещей пахло сундуками и сонным мехом.

– Чего ты возишься?

– Не ставь с краю. Упанет. Ну, что?

– Все стонет. – Горничная подобрала передник и, нагнувшись, подбросила поленьев
под пламенем ахнувшую плиту. – Не мое это дело, – возмутилась она и опять ушла в
комнаты.

В худом черном ведре валялось битое стекло и желтели рецепты. Полотенца были
пропитаны лохматой, комканой кровью. Они полыхали. Их хотелось затоптать, как
пыхающее тление. В кастрюлях кипятилась пустая вода. Кругом стояли белые чаши и
ступы невиданных форм, как в аптеке.

В сенях маленький Галим колот лед.

– А много его с лета осталось? – расспрашивал Сережа.

– Скоро новый будет.

– Дай мне. Ты зря крошишь.

– Для ча зря? Талчи надо. В бутылкам талчи.

– Ну! Ты готова?

Но Женя еще сбегала в комнаты. Сережа вышел на лестницу и в ожидании сестры стал барабанить поленом по железным перилам.

VIII

У Дефендовых садились ужинать. Бабушка, крестясь, колтыхнулась в кресло. Лампа горела мутно и покапчивала: ее то перекручивали, то чересчур отпускали. Сухая рука Дефендова часто тянулась к винту, и когда, медленно отымая ее от лампы, он медленно опускался на место, рука у него тряслась мелко и не по-старчески, будто он подымал налитую через край рюмку. Дрожали концы пальцев, к ногтям.

Он говорил отчетливым, ровным голосом, словно не из звуков складывал свою речь, а набирал ее из букв и произносил все, вплоть до твердого знака.

Припухлое горлышко лампы пылало, обложенное усиками герани и гелиотропа. К жару стекла сбегались тараканы, и осторожно тянулись часовые стрелки. Время ползло по-зимнему. Здесь оно нарывало. На дворе – коченело, зловонное. За окном – сновало, семенило, двоясь и троясь в огоньках.

Дефендова поставила на стол печенку. Блюдо дымилось, заправленное луком. Дефендов что-то говорил, повторяя часто слово «рекомендую», и Лиза трещала без умолку, но Женя их не слышала. Девочке хотелось плакать еще со вчерашнего дня. А теперь ей этого жаждалось. В этой вот кофточке, шитой по материнским указаниям.

Дефендов понимал, что с ней. Он старался развлечь ее. Но то заговаривал он с ней как с малым дитятей, то ударялся в противоположную крайность. Его шуточные вопросы пугали и смущали ее. Это он ощупывал впотьмах душу дочкиной подруги, словно спрашивал у ее сердца, сколько ему лет. Он вознамерился, уловив безошибочно одну какую-нибудь Женину черту, сыграть на подмеченном и помочь ребенку забыть о доме, и своими поисками напомнил ей, что она у чужих. Вдруг она не выдержала и, встав, по-детски смущаясь, пробормотала:

– Спасибо. Я, правда, сыта. Можно посмотреть картинки? – И, густо краснея при виде всеобщего недоумения, прибавила, мотнув головой в сторону смежной комнаты: – Вальтер Скотта. Можно?

– Ступай, ступай, душенька! – зажевала бабушка, бровями приковывая Лизу к месту. – Жалко дитя, – обратилась она к сыну, когда половинки бордовой портьеры сошлись за Женю.

Суровый комплект «Севера» кренил этажерку, и внизу тускло золотился полный Карамзин. С потолка спускался розовый фонарь, оставлявший неосвещенную пару потертых креслиц, и коврик, пропадавший в совершенном мраке, был неожиданностью для ступни.

Жене казалось, что она войдет, сядет и разрыдается. Но слезы наворачивались на глаза, а печали не прорывали. Как отвалить ей эту со вчерашнего дня балкой залегшую тоску? Слезы неймут ее и поднять запруды не в силах. В помощь им она стала думать о матери.

В первый раз в жизни, готовясь заночевать у чужих, она измерила глубину своей привязанности к этому дороговому, драгоценнейшему в мире существу.

Вдруг она услышала за портьерой хохот Лизы.

– У, егоза, пострел тебя!.. – кашляя, колыхала бабушка.

Женя поразились, как могла она раньше думать, что любит девочку, смех которой раздаётся рядом и так далек, так не нужен ей. И что-то в ней перевернулось, дав волю слезам в тот самый миг, как мать вышла у ней в воспоминаниях: страдающей, оставшейся стоять в веренице вчерашних фактов, как в толпе провожающих, и крутимой там, позади, поездом времени, уносящим Женю.

Но совершенно, совершенно несносен был тот проникновенный взгляд, который остановила на ней госпожа Люверс вчера в классной. Он врезался в память и из нее не шел. С ним соединилось все, что теперь испытывала Женя. Будто это была вещь, которую следовало взять, дорожа ей, и которую забыли, ею пренебрегнув.

Можно было голову потерять от этого чувства, до такой степени кружила пьяная, шальная его горечь и безысходность. Женя стояла у окна и плакала беззвучно; слезы текли, и она их не утирала: руки у ней были заняты, хотя она ничего в них не держала. Они были у ней выпрямлены энергически, порывисто и упрямо.

Внезапная мысль осенила ее. Она вдруг почувствовала, что страшно похожа на маму. Это чувство соединилось с ощущением живой безошибочности, властной сделать домысел фактом, если этого нет еще налицо, уподобить ее матери одною силой потрясающе сладкого состояния. Чувство это было пронизывающее, острое до стога. Это было ощущение женщины, изнутри или внутренне видящей свою внешность и прелесть. Женя не могла отдать себе в нем отчета. Она его испытывала впервые. В одном она не ошиблась. Так, взволнованная, отвернувшись от дочери и гувернантки, стояла однажды у окна госпожа Люверс и кусала губы, ударяя лорнеткою по лайковой ладони.

Она вышла к Дефендовым, пьяная от слез и просветленная, и вошла не своей, изменившейся походкой, широкой, мечтательно разбросанной и новой. При виде вошедшей Дефендов почувствовал, что то понятие о девочке, которое у него составилось в ее отсутствие, никуда не годно. И он занялся бы составлением нового, если бы не самовар.

Дефендова пошла на кухню за подносом, оставив его на полу, и взоры всех сошлись на пыхавшей меди, будто это была живая вещь, бедовое своеобразие которой кончалось в ту самую минуту, как ее переставляли на стол. Женя заняла свое место. Она решила вступить в беседу со всеми. Она смутно чувствовала, что теперь выбор разговора за ней. А то ее будут утверждать в ее прежнем одиночестве, не видя, что ее мама тут, с нею и в ней самой. А эта близорукость причинит боль ей, а главное – маме. И словно подбодряемая последней: «Васса Васильевна!» – обратилась она к Дефендовой, тяжело опустившей самовар на краешек подноса...

– Можешь ты рожать?

Лиза не сразу ответила Жене.

– Тсс, тише, не кричи. Ну да, как все девочки. – Она говорила прерывистым шепотом.

Женя не видела лица подруги. Лиза шарила по столу и не находила спичек.

Она знала многим больше Жени насчет этого; она знала все, как знают дети, узнавая это с чужих слов. В таких случаях те натуры, которые облюбованы творцом, восстают, возмущаются и дичают. Без патологии им через это испытание не пройти. Было бы противоестественно обратное, и детское сумасшествие в эту пору – только печать глубокой исправности.

Однажды Лизе наговорили разных страстей и гадостей шепотом, в уголку. Она не поперхнулась слышанным, пронесла все в своем мозгу по улице и принесла домой. Дорогой она не обронила ничего из сказанного и весь этот хлам сохранила. Она узнала все. Ее организм не запылал, сердце не забило тревогой, и душа не нанесла побоев мозгу за то, что он осмелился что-то узнать на стороне, мимо ее, не из ее собственных уст, ее, души, не спросясь.

– Я знаю. («Ничего ты не знаешь», – подумала Лиза.) Я знаю, – повторила Женя, – я не про то спрашиваю. А про то, чувствуешь ли ты, что вот сделаешь шаг – и родишь вдруг, ну вот...

– Да войди ты! – прохрипела Лиза, превозмогая смех. – Нашла где орать. Ведь с порога слышать им!

Этот разговор происходил у Лизы в комнате. Лиза говорила так тихо, что было слышно, как каплет с рукомойника. Она нашла уже спички, но еще медлила зажигать, не будучи в силах придать серьезность расходившимся щекам. Ей не хотелось обижать подругу. А ее неведение она пощадила потому, что и не подозревала, чтобы об этом можно было рассказать иначе, чем в тех выражениях, которые тут, дома, перед знакомой, не ходившей в школу, были произносимы. Она зажгла лампу. По счастью, ведро оказалось переполнено, и Лиза бросилась подтирать пол, пряча новый приступ хохота в передник, в шлепанье тряпки, и наконец расхохоталась

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
открыто, нашедши повод. Она уронила гребенку в ведро.

Все эти дни она только и знала, что думала о своих и ждала часа, когда за ней прийдут. А за этим делом днем, когда Лиза уходила в гимназию, а в доме оставалась одна бабушка, Женя тоже одевалась и одна выходила на улицу, в проходку.

Жизнь слободы мало чем походила на жизнь тех мест, где проживали Люверсы. Большую часть дня здесь было голо и скучно. Не на чем было разгуляться глазу. Все, что ни встречал он, ни на что, кроме разве как на розгу или на помело, не годилось. Валялся уголь. Черные помои выливались на улицу и разом обелялись, обледенев. В известные часы улица наполнялась простым народом. Фабричные расплзались по снегу, как тараканы. Ходили на блоках двери чайных, и оттуда валом валил мыльный пар, как из прачечной. Странно, будто теплей становилось на улице, будто к весне оборачивалось дело, когда по ней сутуло пробегали пареные рубахи и мелькали валенки на жиденьких портах. Голуби не пугались этих толп. Они перелетали на дорогу, где тоже был корм. Мало ли сорено было по снегу просом, овсом и навозцем? Ларек пирожницы лоснился от сала и тепла. Этот лоск и жар попадали в сивухю сполоснутые рты. Сало разгорячало гортани. И потом вырывалось дорогой из часто дышавших грудей. Не это ли согревало улицу?

Так же внезапно она пустела. Наступали сумерки. Проезжали дровни порожняком, пробегали розвальни с бородачами, тонувшими в шубах, которые, шая, валили их на спину, облапив по-медвежьи. От них на дороге оставались клоки тоскливого сена и медленное, сладкое таянье удаляющегося колокольца. Купцы пропадали на повороте, за березками, отсюда походившими на раздерганный частокол.

Сюда слеталось то воронье, которое, раздольно каркая, пронесилось над их домом. Только тут они не каркали. Тут, подняв крик и задрав крылья, они вприпрыжку рассаживались по заборам и потом вдруг, словно по знаку, тучею кидались разбирать деревья и, толкаясь, размещались по опростанным сукам. Ах, как чувствовалось тогда, какой поздний-поздний час на всем белом свете! Так, – ах, так, как этого не выразить никаким часам!

Так прошла неделя, и к концу другой, в четверг, на рассвете она опять его увидела. Лизина постель была пуста. Просыпаясь, Женя слышала, как за ней брякнула калитка. Она встала и, не зажигая огня, подошла к окошку. Было еще совершенно темно. Но чувствовалось, что в небе, в ветках деревьев и в движениях собак та же тяжесть, что и накануне. Эта пасмурная погода стояла уже третьи сутки, и не было сил стащить ее с обрыхлевшей улицы, как чугуна с корявой половицы.

В окошке через дорогу горела лампа. Две яркие полосы, упав под лошадь, ложились на мохнатые бабки. Двигались тени по снегу, двигались рукава призрака, запахивавшего шубу, двигался свет в занавешенном окне. Лошадка же стояла неподвижно и дремала.

Тогда она увидела его. Она сразу его узнала по силуэту. Хромой поднял лампу и стал удаляться с ней. За ним двинулись, перекашиваясь и удлиняясь, обе яркие полосы, а за полосами и сани, которые быстро вспыхнули и еще быстрее метнулись во мрак, медленно заезжая за дом к крыльцу.

Было странно, что Цветков продолжает попадаться ей на глаза и здесь, в слободе. Но Женю это не удивило. Он ее мало занимал. Вскоре лампа опять показалась и, плавно пройдясь по всем занавескам, стала было снова пятиться назад, как вдруг очутилась за самой занавеской, на подоконнике, откуда ее взяли.

Это было в четверг. А в пятницу за ней наконец прислали.

IX

Когда на десятый день по возвращении домой, после более чем трехнедельного перерыва, были возобновлены занятия, Женя узнала от репетитора все остальное. После обеда сложился и уехал доктор, и она попросила его кланяться дому, в котором он ее осматривал весной, и всем улицам, и Каме. Он выразил надежду, что больше его из Перми выписывать не придется. Она проводила до ворот человека, который привел ее в такое содрогание в первое же утро ее переезда от Дефендовых,

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
пока мама спала и к ней не пускали, когда на ее вопрос о том, чем она больна, он начал с напоминания, что в ту ночь родители были в театре. А как по окончании спектакля стали выходить, то их жеребец...

– Выкормыш?!

– Да, если это его прозвище... так Выкормыш, стало быть, стал биться, вздыбился, сбил и подмял под себя случайного прохожего и...

– Как? Насмерть?

– Увы!

– А мама?

– А мама заболела нервным расстройством, – и он улыбнулся, едва успев приспособить в таком виде для девочки свое латинское «partus praematurus»[11].

– И тогда родился мертвый братец?!

– Кто вам сказал?.. Да...

– А когда? При них? Или они застали его уже бездыханным? Не отвечайте. Ах, какой ужас! Я теперь понимаю. Он был уже мертв, а то бы я его услышала и без них. Ведь я читала. До поздней ночи. Я бы услышала. Но когда же он жил? Доктор, разве бывают такие вещи? Я даже заходила в спальню! Он был мертв. Несомненно!

Какое счастье, что это наблюдение от Дефендовых, на рассвете, было только вчера, а ужасу у театра – третья неделя! Какое счастье, что она его узнала! Ей смутно думалось, что, не попадись он ей на глаза за весь этот срок, она теперь, после докторовых слов, непременно бы решила, что у театра задавлен хромой.

И вот, прогостив у них столько времени и став совершенно своим, доктор уехал. А вечером пришел репетитор. Днем была стирка. На кухне катали белье. Иней сошел с ее рам, и сад стал вплотную к окнам, и, запутавшись в кружевных гардинах, подступил к самому столу. В разговор врывались короткие погромыхиванья валька. Диких тоже, как все, нашел ее изменившейся. Перемену заметила в нем и она.

– Отчего вы такой грустный?

– Разве? Все может быть. Я потерял друга.

– И у вас тоже горе? Сколько смертей – и все вдруг! – вздохнула она.

Но только собрался он рассказывать, что имел, как произошло что-то необъяснимое. Девочка внезапно стала других мыслей об их количестве и, видно, забыв, какую опорой располагала в виденной в то утро лампе, сказала взволнованно:

– Погодите. Раз как-то вы были у табачника, уезжал Негарат; я вас видала еще с кем-то. Этот? – Она боялась сказать: «Цветков?»

Диких оторопел, услышав, как были произнесены эти слова, привел помянутое на память и припомнил, что действительно они заходили тогда за бумагой и спросили всего Тургенева для госпожи Люверс; и точно, вдвоем с покойным. Она дрогнула, и у ней выступили слезы. Но главное было еще впереди.

Когда, рассказав с перерывами, в которые слышался рубчатый грохот скалки, что это был за юноша и из какой хорошей семьи, Диких закурил, Женя с ужасом поняла, что только эта затяжка отделяет репетитора от повторения докторова рассказа, и когда он сделал попытку и произнес несколько слов, среди которых было слово «театр», Женя вскрикнула не своим голосом и бросилась вон из комнаты.

Диких прислушался. Кроме катки белья, в доме не было слышно ни звука. Он встал, похожий на аиста. Вытянул шею и приподнял ногу, готовый броситься на помощь. Он кинулся отыскивать девочку, решив, что никого нет дома, а она лишилась чувств. А тем временем, как он тыкался впотьмах на загадки из дерева, шерсти и металла, Женя сидела в уголочке и плакала. Он же продолжал шарить и ощупывать, в мыслях уже подымая ее за смертью с ковра. Он вздрогнул, когда за его локтями раздалось

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
громко, сквозь всхлипывание:

– Я тут. Осторожней, там горка. Подождите меня в классной. Я сейчас приду.

Гардины опускались до полу, и до полу свешивалась зимняя звездная ночь за окном, и низко, по пояс в сугробах, волоча сверкающие цепи ветвей по глубокому снегу, брели дремучие деревья на ясный огонек в окне. И где-то за стеной, туго стянутый простынями, взад-вперед ходил твердый грохот раскатки. «Чем объяснить этот избыток чувствительности? – размышлял репетитор. – Очевидно, покойный был у девочки на особом счету. Она очень изменилась. Периодические дробы объяснялись еще ребенку, между тем как та, что послала его сейчас в классную.. И это дело месяца! Очевидно, покойный произвел когда-то на эту маленькую женщину особо глубокое и неизгладимое впечатление. У впечатлений этого рода есть имя. Как странно! Он давал ей уроки каждый другой день и ничего не заметил. Она страшно славная, и ее ужасно жаль. Но когда же она заплачется и придет, наконец! Верно, все прочие в гостях. Ее жалко от души. Замечательная ночь!»

Он ошибался. То впечатление, которое он предположил, к делу нисколько не шло. Он не ошибся. Впечатление, скрывавшееся за всем, было неизгладимо. Оно отличалось больше, чем он думал, глубиной.. Оно лежало вне ведения девочки, потому что было жизненно важно и значительно, и значение его заключалось в том, что в ее жизнь впервые вошел другой человек, третье лицо, совершенно безразличное, без имени или со случайным, не вызывающее ненависти и не вселяющее любви, но то, которое имеют в виду заповеди, обращаясь к именам и сознаниям, когда говорят: не убий, не крадь и все прочее. «Не делай ты, особенный и живой, – говорят они, – этому, туманному и общему, того, чего себе, особенному и живому, не желаешь». Всего грубее заблуждался Диких, думавши, что есть имя у впечатлений такого рода. Его у них нет.

А плакала Женя оттого, что считала себя во всем виноватой. Ведь ввела его в жизнь семьи она в тот день, когда, заметив его за чужим садом, и заметив без нужды, без пользы, без смысла, стала затем встречать его на каждом шагу, постоянно, прямо и косвенно, и даже, как это случилось в последний раз, наперекор возможности.

Когда она увидела, какую книгу берет Диких с полки, она нахмурилась и заявила:

– Нет. Этого я сегодня отвечать не стану. Положите на место. Виновата: пожалуйста.

И без дальних слов Лермонтов был тою же рукой втиснут назад в покосившийся рядок классиков.

1918

Охранная грамота{19}

(Повесть)

ПАМЯТИ РАЙНЕРА МАРИЯ РИЛЬКЕ{20}

Часть первая

1

Жарким летним утром 1900 года с Курского вокзала отходит курьерский поезд. Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в черной тирольской разлетайке. С ним высокая женщина{21}. Она, вероятно, приходится ему матерью или старшей сестрой. Втроем с отцом они говорят о чем-то одном, во что все вместе посвящены с одинаковой теплотой, но женщина перекидывается с мамой отрывочными словами по-русски, незнакомец же говорит только по-немецки. Хотя я знаю этот язык в совершенстве, но таким его никогда не слышал. Поэтому тут, на людном перроне, между двух звонков, этот иностранец кажется мне силуэтом среди тел, вымыслом в гуще невымысленности.

В пути, ближе к Туле, эта пара опять появляется у нас в купе. Говорят о том, что в Козловой Засеке{22} курьерскому останавливаться нет положенья и они не уверены, скажет ли обер-кондуктор машинисту вовремя придержать у Толстых. Из следующего за тем разговора я заключаю, что им к Софье Андреевне{23}, потому что она ездит в Москву на симфонические и еще недавно была у нас, то же бесконечно

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru важное, что символизировано буквами гр. Л. Н. и играет скрытую, но до головоломности прокурорную роль в семье, никакому воплощению не поддается. Оно видно в слишком раннем младенчестве. Его седина, впоследствии подновленная отцовыми, репинскими и другими зарисовками, детским воображением давно присвоена другому старику, виденному чаще и, вероятно, позднее, – Николаю Николаевичу Ге{24}.

Потом они прощаются и уходят в свой вагон. Немного спустя летящую насыпь берут разом в тормоза. Мелькают березы. Во весь раскат полотна сопят и сталкиваются тарели сцеплений. Из вихря певучего песку облегченно вырывается кучевое небо. Полуповоротом от рощи, распластываясь в русской, к высадившимся подпархивает порожняя пара пристяжкой. Мгновенно волнующая, как выстрел, тишина разъезда, ничего о нас не ведающего. Нам тут не стоять. Нам машут на прощанье платками. Мы отвечаем. Еще видно, как их подсаживает ямщик. Вот, отдав барыне фартук, он привстал, краснорукавый, чтобы поправить кушак и подобрать под себя длинные полы поддевки. Сейчас он тронет. В это время нас подхватывает закругление, и, медленно перевертываясь, как прочитанная страница, полустанок скрывается из виду. Лицо и происшествие забываются, и, как можно предположить, навсегда.

2

Проходит три года, на дворе зима. Улицу на треть укоротили сумерки и шубы. По ней бесшумно носятся кубы карет и фонарей. Наследованью приличий, не раз прерывавшемуся и раньше, положен конец. Их смыло волной более могущественной преемственности – лицевой.

Я не буду описывать в подробностях, что ей предшествовало. Как в ощущении, напоминавшем «шестое чувство» Гумилева{25}, десятилетку открылась природа. Как первой его страстью в ответ на пятилепестную пристальность растения явилась ботаника. Как имена, отысканные по определителю, приносили успокоение душистым зрачкам, безвопросно рвавшимся к Линнею{26}, точно из глухоты к славе.

Как весной девятьсот первого года в Зоологическом саду показывали отряд дагомейских амазонок{27}. Как первое ощущение женщины связалось у меня с ощущением обнаженного строя, сомкнутого страдания, тропического парада под барабан. Как раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что слишком рано увидел на них форму невольниц. Как летом девятьсот третьего года в Оболенском, где по соседству жили Скрябины, купаясь, тонула воспитанница знакомых, живших за Протвой. Как погиб студент, бросившийся к ней на помощь, и она затем сошла с ума, после нескольких покушений на самоубийство с того же обрыва. Как потом, когда я сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн, и лежал без движения в гипсе, горели за рекой эти знакомые, и юродствовал, трясясь в лихорадке, тоненький сельский набат. Как, натягиваясь, точно запущенный змей, колотилось косоугольное зарево и вдруг, свернув трубой лучинный переплет, кувыркком ныряло в кулебячные слои серо-малинового дыма.

Как, скача в ту ночь с врачом из Малоярославца, поседел мой отец при виде клубившегося отблеска, облаком вставшего со второй версты над лесною дорогой и вселявшего убеждение, что это горит близкая ему женщина с тремя детьми и трехпудовой глыбой гипса, которой не поднять, не боясь навсегда ее искалечить.

Я не буду этого описывать, это сделает за меня читатель. Он любит фабулы и страхи и смотрит на историю как на рассказ с непрекращающимся продолжением. Неизвестно, желает ли он ей разумного конца. Ему по душе места, дальше которых не простирались его прогулки. Он весь тонет в предисловиях и введениях, а для меня жизнь открывалась лишь там, где он склонен подводить итоги. Не говоря о том, что внутреннее членение истории навязано моему пониманию в образе неминуемой смерти, я и в жизни оживал целиком лишь в тех случаях, когда заканчивалась утомительная варка частей и, пообедав целым, вырывалось на свободу всей ширью оснащенное чувство.

Итак, на дворе зима, улица на треть подрублена сумерками и весь день на побегушках. За ней, отставая в вихре снежинок, гонятся вихрем фонари. Дорогой из гимназии имя Скрябина, все в снегу, соскакивает с афиши мне на закорки. Я на крышке ранца заносу его домой, от него натекает на подоконник. Обожанье это бьет меня жесточе и неприкрашеннее лихорадки. Завидя его, я бледнею, чтобы вслед за тем густо покраснеть именно этой бледности. Он ко мне обращается, я лишаюсь соображения и слышу, как под общий смех отвечаю что-то невпопад, но что именно – не слышу. Я знаю, что он обо всем догадывается, но ни разу не пришел мне на

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
помощь. Значит, он меня не щадит, и это именно то безответное, неразделенное чувство, которого я и жажду. Только оно, и чем оно горячее, тем больше ограждает меня от опустошений, производимых его непередаваемой музыкой.

Перед отъездом в Италию он заходит к нам прощаться{28}. Он играет, – этого не описать, – он у нас ужинает, пускается в философию, простодушничает, шутит. Мне все время кажется, что он томится скукой. Приступают к прощанью. Раздаются пожеланья. Кровавым комком в общую кучу напутствий падает и мое. Все это говорится на ходу, и возгласы, теснясь в дверях, постепенно передвигаются к передней. Тут все опять повторяется с резюмирующей порывистостью и крючком воротника, долго не попадающим в туго ушитую петлю. Стучит дверь, дважды поворачивается ключ. Проходя мимо рояля, всем петельчатым свеченьем попитра еще говорящего о его игре, мама садится просматривать оставленные им этюды, и только первые шестнадцать тактов слагаются в предложение, полное какой-то удивляющейся готовности, ничем на земле не вознагражимой, как я без шубы, с непокрытой головой скатываюсь вниз по лестнице и бегу по ночной Мясницкой, чтобы его воротить или еще раз увидеть.

Это испытано каждым. Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, свое обещанье сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не довольствовалась она сочиненным о ней сводным образом, но всегда отряжала к нам какое-нибудь из решительнейших своих исключений. Отчего же большинство ушло в облике сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличье, испугавшись жертв, которых традиция требует от детства. Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, – дело наших сердец, пока мы дети.

3

Конечно, я не догнал его, да вряд ли об этом и думал. Мы встретились через шесть лет, по его возвращении из-за границы. Срок этот упал полностью на отроческие годы. А как необозримо отрочество, каждому известно. Сколько бы нам потом ни набегало десятков, они бессильны наполнить этот ангар, в который они залетают за воспоминаньями, порознь и кучею, днем и ночью, как учебные аэропланы за бензином. Другими словами, эти годы в нашей жизни составляют часть, превосходящую целое, и Фауст, переживший их дважды, прожил сущую невообразимость, измеримую только математическим парадоксом.

Он приехал, и сразу же пошли репетиции «Экстаза». Как бы мне хотелось теперь заменить это название, отдающее тугою мыльной оберткой, каким-нибудь более подходящим! Они происходили по утрам. Путь туда лежал разварной мглой, фуркасовским и Кузнецким, тонувшими в ледяной тюрьме. Сонной дорогой в туман погружались висячие языки колоколен. На каждой по разу ухал одинокий колокол. Остальные дружно безмолвствовали всем воздержаньем говевшей меди. На выезде из Газетного Никитская была яйцо с коньяком в гулком омуте перекрестка. Голоса, въезжали в лужи кованые полозья, и цокал кремь под тростями концертантов. Консерватория в эти часы походила на цирк порой утренней уборки. Пустовали клетки амфитеатров. Медленно наполнялся партер. Насилу загнанная в палки на зимнюю половину, музыка шлепала оттуда лапой по деревянной обшивке органа. Вдруг публика начинала прибывать ровным потоком, точно город очищали неприятелю. Музыку выпускали. Пестрая, несметно ломающаяся, молниеносно множащаяся, она скачками рассыпалась по эстраде. Ее настраивали, она с лихорадочной поспешностью неслась к согласью и, вдруг достигнув гула неслыханной слитности, обрывалась на всем басистом вихре, вся замерев и выровнявшись вдоль ramпы.

Это было первое поселенье человека в мирах, открытых Вагнером для вымыслов и мастодонтов. На участке возводилось невымышленное лирическое жилище, материально равное всей ему на кирпич перемолотой вселенной. Над плетнем симфонии загоралось солнце Ван Гога. Ее подоконники покрывались пыльным архивом Шопена. Жильцы в эту пыль своего носа не совали, но всем своим укладом осуществляли лучшие заветы предшественника.

Без слез я не мог ее слышать. Она вгравировалась в мою память раньше, чем легла в цинкографические доски первых корректур. В этом не было неожиданности. Рука, ее написавшая, за шесть лет перед тем легла на меня с не меньшим весом.

Чем были все эти годы, как не дальнейшими превращениями живого отпечатка, отданного на произвол роста? Не удивительно, что в симфонии я встретил завидно

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
счастливую ровесницу. Ее соседство не могло не отозваться на близких, на моих занятиях, на всем моем обиходе. И вот как оно отозвалось.

Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней – Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства. К ее возвращению я был учеником одного поныне здравствующего композитора. Мне оставалось еще только пройти оркестровку. Говорили всякое, впрочем, важно лишь то, что, если бы говорили и противное, все равно, жизни вне музыки я себе не представлял.

Но у меня не было абсолютного слуха. Так называется способность узнавать высоту любой произвольно взятой ноты. Отсутствие качества, ни в какой связи с общею музыкальностью не стоящего, но которым в полной мере обладала моя мать, не давало мне покоя. Если бы музыка была мне поприщем, как казалось со стороны, я бы этим абсолютным слухом не интересовался. Я знал, что его нет у выдающихся современных композиторов, и, как думают, может быть, и Вагнер, и Чайковский были его лишены. Но музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось все, что было самого суеверного и самоотреченного во мне, и потому всякий раз, как за каким-нибудь вечерним вдохновением окрылялась моя воля, я утром спешил унижить ее, вновь и вновь вспоминая о названном недостатке.

Тем не менее у меня было несколько серьезных работ{29}. Теперь их предстояло показать моему кумиру. Устройство встречи, столь естественной при нашем знакомстве домами, я воспринял с обычной крайностью. Этот шаг, который при всяких обстоятельствах показался бы мне навязчивым, в настоящем случае вырос из моих глаз до какого-то кощунства. И в назначенный день, направляясь в Глазовский, где временно проживал Скрябин, я не столько вез ему свои сочинения, сколько давно превзошедшую всякое выражение любовь и свои извинения в воображаемой неловкости, невольным поводом к которой себя сознавал. Переполненный номер четвертый тискал и подкидывал эти чувства, неумолимо неся их к страшно близившейся цели по бурому Арбату, который волокля к Смоленскому, по колону в воде, мохнатые и потные вороны, лошади и пешеходы.

4

Я оценил тогда, как вышкочены у нас лицевые мышцы. С перехваченной от волнения глоткой, я мямлил что-то отсохшим языком и запивал свои ответы частыми глотками чаю, чтобы не задохнуться или не сплеховать как-нибудь еще.

По челюстным мослам и выпуклостям лба ходила кожа, я двигал бровями, кивал и улыбался, и всякий раз, как я дотрагивался у переносицы до складок этой мимики, щекотливой и садкой, как паутина, в руке у меня оказывался судорожно зажатый платок, которым я вновь и вновь отирал со лба крупные капли пота. С затылка, связанная занавесями, всем переулком дымилась весна. Впереди, промеж хозяев, удвоенной словоохотливостью старавшихся вывести меня из затруднения, дышал по чашкам чай, шипел пронзенный стрелкой пара самовар, клубилось отуманенное водой и навозом солнце. Дым сигарного окурка, волокнистый, как черепаховая гребенка, тянулся из пепельницы к свету, достигнув которого пресыщенно полз по нему вбок, как по суконке. Не знаю отчего, но этот круговорот ослепленного воздуха, испарявшихся вафель, курившегося сахару и горевшего, как бумага, серебра нестерпимо усугублял мою тревогу. Она улеглась, когда, перейдя в залу, я очутился у рояля.

Первую вещь я играл еще с волнением, вторую – почти справясь с ним, третью – поддавшись напору нового и непредвиденного. Случайно взгляд мой упал на слушавшего.

Следуя постепенности исполнения, он сперва поднял голову, потом – брови, наконец, весь расцветши, поднялся и сам и, сопровождая изменения мелодии неуловимыми изменениями улыбки, поплыл ко мне по ее ритмической перспективе. Все это ему нравилось. Я поспешил кончить. Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, когда налицо несравненно большее, и мне в музыке дано сказать свое слово. В ссылках на промелькнувшие эпизоды он подсел к роялю, чтобы повторить один, наиболее его привлекавший. Оборот был сложен, я не ждал, чтобы он воспроизвел его в точности, но произошла другая неожиданность, он повторил его не в той тональности, и недостаток, так меня мучивший все эти годы, брызнул из-под его рук, как его собственный.

И опять, предпочтя красноречью факта превратности гаданья, я вздрогнул и задумал надвое. Если на признание он возразит мне: «Боря, но ведь этого нет и у меня»,

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
тогда – хорошо, тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она сама суждена мне. Если же речь в ответ пойдет о Вагнере и Чайковском, о настройщиках и так далее, – но я уже приступал к тревожному предмету и, перебитый на полуслове, уже глотал в ответ: «Абсолютный слух? После всего, что я сказал вам? А Вагнер? А Чайковский? А сотни настройщиков, которые наделены им?..»

Мы прохаживались по залу. Он то клал мне руку на плечо, то брал меня под руку. Он говорил о вреде импровизации, о том, когда, зачем и как надо писать. В образцы простоты, к которой всегда следует стремиться, он ставил свои новые сонаты, ославленные за головомолость. Примеры предосудительной сложности приводил из банальнейшей романсной литературы. Парадоксальность сравнения меня не смущала. Я соглашался, что безличье сложнее лица. Что небрежливое многословье кажется доступным, потому что оно бессодержательно. Что, развращенные пустотой шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы. Незаметно он перешел к более решительным наставленьям. Он справился о моем образовании и, узнав, что я избрал юридический факультет за его легкость, посоветовал немедленно перевестись на философское отделение историко-филологического, что я на другой день и исполнил. А тем временем, как он говорил, я думал о проишедшем. Сделки своей с судьбою я не нарушал. О худом выходе загаданного помнил. Развенчивала ли эта случайность моего бога? Нет, никогда – с прежней высоты она подымала его на новую. Отчего он отказал мне в том простейшем ответе, которого я так ждал? Это его тайна. Когда-нибудь, когда уже будет поздно, он подарит меня этим упущенным признаньем. Как одолел он в юности свои сомненья? Это тоже его тайна, она-то и возводит его на новую высоту. Однако в комнате давно темно, в переулке горят фонари, пора и честь знать.

Я не знал, прощаясь, как благодарить его. Что-то подымалось во мне. Что-то рвалось и освобождалось. Что-то плакало, что-то ликовало.

Первая же струя уличной прохлады отдала домами и далями. Целое их столпотворение поднялось к небу, вынесенное с бульжника единодушием московской ночи. Я вспомнил о родителях и об их нетерпеливо готовящихся расспросах. Мое сообщение, как бы я его ни повел, никакого смысла, кроме радостнейшего, иметь не могло. Тут только, подчиняясь логике предстоявшего рассказа, я впервые как к факту отнесся к счастливым событиям дня. Мне они в таком виде не принадлежали. Действительностью становились они лишь в предназначеньи для других. Как ни возбуждала весть, которую я нос домашним, на душе у меня было неспокойно. Но все больше походило на радость сознанье, что именно этой грусти мне ни во чьи уши не вложить, и, как и мое будущее, она останется внизу, на улице, со всей моею, моей в этот час, как никогда, Москвой. Я шел переулками, чаще надобности переходя через дорогу. Совершенно без моего ведома во мне таял и надламывался мир, еще накануне казавшийся навсегда прирожденным. Я шел, с каждым поворотом все больше прибавляя шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с музыкой.

В возрастах отлично разбиралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро. Как высока у ней эта способность, видно из ее мифа о Ганимеди^{30} и из множества сходных. Те же воззрения вошли и ее понятие о полубоге и герое. Какая-то доля риска и трагизма, но ее мысли, должна быть собрана достаточно рано в наглядную, мгновенно обозримую горсть. Какие-то части зданья, и среди них основная арка фатальности, должны быть заложены разом, с самого начала, в интересах его будущей соразмерности. И, наконец, в каком-то запоминающемся подобии, быть может, должна быть пережита и смерть.

Вот отчего при гениальном, всегда неожиданном, сказочно захватывающем искусстве античность не знала романтизма.

Воспитанная на никем потом не повторенной требовательности, на сверхчеловечестве дел и задач, она совершенно не знала сверхчеловечества как личного аффекта. От этого она была застрахована тем, что всю дозу необычного, заключающуюся в мире, целиком прописывала детству. И когда по ее приему человек гигантскими шагами вступал в гигантскую действительность, поступь и обстановка считались обычными.

5

В один из ближайших вечеров, отправляясь на собрание «Сердарды», пьяного сообщества, основанного десятком поэтов, музыкантов и художников, я вспомнил, что обещал принести Юлиану Анисимову, читавшему перед тем отличные переводы из

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Демеля{31}, другого немецкого поэта, которого я предпочитал всем его современникам. И опять, как не раз уже и раньше, сборник «Mir zur Feier»[12] очутился у меня в руках в труднейшую мою пору и ушел по слякоти на деревянный Разгуляй, в отсыревшее сплетенье старины, наследственности и молодых обещаний, чтобы, одурев от грачей в мезонине под тополями, вернуться домой с новой дружбой, то есть с чутьем еще на одну дверь в городе, где их было тогда еще немного. Пора рассказать, однако, как ко мне попал этот сборник. Дело в том, что шестью годами раньше, в те декабрьские сумерки, которые я принимался тут описывать дважды, вместе с бесшумной улицей, всюду подстерегавшейся таинственными ужимками снежинок, ездил на коленках и я, помогая маме в уборке отцовых этажерок. Уже пройденная тряпкой и уторканная с четырех боков печатная требуха правильными рядами возвращалась на распотрошенные полки, как вдруг из одной стопы, особенно колышливой и ослушной, вывалилась книжка в серой выгоревшей обложке. По совершенной случайности я не втиснул ее назад и, подобрав с полу, взял потом к себе. Прошло много времени, и я успел полюбить книгу, как вскоре и другую, присоединившуюся к ней и надписанную отцу той же рукою. Но еще больше времени прошло, пока я однажды понял, что их автор, Райнер Мария Рильке, должен быть тем самым немцем, которого давно как-то, летом, мы оставили в пути на вертящемся отрыве забытого лесного полустанка. Я побежал к отцу проверять догадку, и он ее подтвердил, недоумевая, почему это так могло меня взволновать.

Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая. Вместе с ее главным лицом я считаю, что настоящего жизнеописания заслуживает только герой, но история поэта в этом виде вовсе непредставима. Ее пришлось бы собирать из несущественностей, свидетельствующих об уступках жалости и принуждению. Всей своей жизни поэт придает такой добровольно крутой наклон, что ее не может быть в биографической вертикали, где мы ждем ее встретить. Ее нельзя найти под его именем и надо искать под чужими, в биографическом столбце его последователей. Чем замкнутее производящая индивидуальность, тем коллективное, без всякого иносказания, ее повесть. Область подсознательного у гения не поддается обмеру. Ее составляет все, что творится с его читателями и чего он не знает. Я не дарю своих воспоминаний памяти Рильке. Наоборот, я сам получил их от него в подарок.

6

Хотя к этому располагал рассказ, я вопроса о том, что такое музыка и что к ней приводит, не ставил. Я не сделал этого не только оттого, что, проснувшись однажды на третьем году ночью, застал весь кругозор залитым ею более чем на пятнадцать лет вперед и, таким образом, не имел случая пережить ее проблематику. Но еще и оттого, что она теперь перестает относиться к нашей теме. Однако того же вопроса в отношении искусства по преимуществу, искусства в целом, иными словами – в отношении поэзии, мне не обойти. Я не отвечу на него ни теоретически, ни в достаточно общей форме, но многое из того, что я расскажу, будет на него ответом, который я могу дать за себя и своего поэта.

Солнце вставало из-за Почтамта и, соскальзывая по Кисельному, садилось на Неглинке. Вызолотив нашу половину, оно с обеда перебиралось в столовую и кухню. Квартира была казенная, с комнатами, переделанными из классов. Я учился в университете. Я читал Гегеля и Канта. Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны, и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровением.

Часто подымали друг друга глубокой ночью. Повод всегда казался неотложным. Разбуженный стыдился своего сна, как нечаянно обнаруженной слабости. К перепугу несчастных домочадцев, считавшихся поголовными ничтожествами, отправлялись тут же, точно в смежную комнату, в Сокольники, к переезду Ярославской железной дороги. Я дружил с девушкой из богатого дома. Всем было ясно, что я ее люблю. В этих прогулках она участвовала только отвлеченно, на устах более бессонных и приспособленных. Я давал несколько грошовых уроков, чтоб не брать денег у отца. Летами, с отъездом наших, я оставался в городе на своем иждивении. Иллюзия самостоятельности достигалась такой умеренностью в пище, что ко всему присоединялся еще и голод и окончательно превращал ночь в день в пустопорожней квартире. Музыка, прощанье с которой я только еще откладывал, уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне. Их влияние своеобразно сочеталось с силой, превосходившей простое невежество. Пятнадцатилетнее воздержание от слова, приносившегося в жертву звуку, обрекало на оригинальность, как иное увечье обрекает на акробатику. Вместе с частью моих знакомых я имел отношение к «Мусагету»{32}. От других я

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
узнал о существовании Марбурга. Канта и Гегеля сменили Коген, Наторп и Платон{33}.

Свою жизнь тех лет я характеризую намеренно случайно. Эти признаки я мог бы умножить или заменить другими. Однако для моей цели достаточно и приведенных. Обозначив ими вприкидку, как на расчетном чертеже, мою тогдашнюю действительность, я тут же и спрошу себя, где и в силу чего из нее рождалась поэзия. Обдумывать ответ мне долго не придется. Это единственное чувство, которое память сберегла мне во всей свежести.

Она рождалась из перебоев этих рядов, из разности их хода, из отставанья более косных и их нагроможденья позади, на глубоком горизонте воспоминанья.

Всего порывистее неслась любовь. Иногда, оказываясь в голове природы, она опережала солнце. Но так как это выдавалось очень редко, то можно сказать, что с постоянным превосходством, почти всегда соперничая с любовью, двигалось вперед то, что, вызолотив один бок дома, принималось бронзировать другой, что смывало погодой погоду и вращало тяжелый ворот четырех времен года. А в хвосте, на отступах разной дальности, плелись остальные ряды. Я часто слышал свист тоски, не с меня начавшейся. Настигая меня с тылу, он пугал и жалобил. Он исходил из оторвавшегося обихода и не то грозил затормозить действительность, не то молил примкнуть его к живому воздуху, успевшему зайти тем временем далеко вперед. В этой оглядке и заключалось то, что зовется вдохновеньем. К особенной яркости, ввиду дали своего отката, звали наиболее отечные, нетворческие части существованья. Еще сильнее действовали неодоушевленные предметы. Это были натурщики натюрморта, отрасли, наиболее излюбленной художниками. Копясь в последнем отдалении живой вселенной и находясь в неподвижности, они давали наиполнейшее понятие о ее движущемся целом, как всякий кажущийся нам контрастом предел. Их расположение обозначало границу, за которой удивленью и состраданью нечего делать. Там работала наука, отыскивая атомные основания реальности.

Но так как не было второй вселенной, откуда можно было бы поднять действительность из первой, взяв ее за вершки, как за волоса, то для манипуляций, к которым она сама взывала, требовалось брать ее изображение, как это делает алгебра, стесненная такой же одноплоскостностью в отношении величины. Однако это изображение всегда казалось мне выходом из затруднения, а не самоцелью. Цель же я видел всегда в пересадке изображенного с холодных осей на горячие, в пуске отжитого вслед и в нагонку жизни. Без особых отличий от того, что думаю и сейчас, я рассуждал тогда так. Людей мы изображаем, чтобы накинуть на них погоду. Погоду или, что одно и то же, природу, – чтобы на нее накинуть нашу страсть. Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки. Так, в широчайшем значении слова, называл я искусство, поставленное по часам живого, бьющего поколеньями, рода.

Вот отчего ощущение города никогда не отвечало месту, где в нем протекала моя жизнь. Душевный напор всегда отбрасывал его в глубину описанной перспективы. Там, отдуваясь, топтались облака, и, расталкивая их толпу, висел поперек неба сплывшийся дым несметных печей. Там линиями, точно вдоль набережных, окунались подъездами в снег разрушавшиеся дома. Там утлую невзрачность прозябанья перебирали тихими гитарными щипками пьянства, и, сварясь за бутылкой вкрутую, раскрасневшиеся степенницы выходили с качающимися мужьями под ночной прибой извозчиков, точно из гогочущей горячки шаек в березовую прохладу предбанника. Там травились и горели, обливали разлучниц кислотой, выезжали в атласе к венцу и закладывали меха в ломбарде. Там втихомолку перемигивались лаковые ухмылки рассыхавшегося уклада, и в ожиданьи моего часа усаживались, разложив учебники, мои питомцы–второгодники, ярко накрашенные малоумьем, как шафраном. Там также сотнею аудиторий гудел и замирал серо-зеленый, полузаплеванный университет.

Скользнувши стеклами очков по стеклам карманных часиков, профессора подымали головы в обращении к хорам и потолочным сводам. Головы студентов отделялись от тужурок и на длинных шнурах повисали четными дружками к зеленым абажурам.

За этими побывками в городе, куда я ежедневно попадал точно из другого, у меня неизменно учащалось сердцебиенье. Покажись я тогда врачу, он предположил бы, что у меня малярия. Однако эти приступы хронической нетерпеливости лечению хиной не поддавались. Эту странную испарину вызывала упрямая аляповатость этих миров, их отечная, ничем изнутри в свою пользу не издержанная наглядность. Они жили и двигались, точно позируя. Объединяя их в какое-то поселенье, среди них мысленно

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru высилась антенна повальной предопределенности. Лихорадка напала именно у основанья этого воображаемого шеста. Ее порождали токи, которые эта мачта посылала на противоположный полюс. Собеседуя с далекою мачтой гениальности, она вызывала из ее краев в свой поселок какого-то нового Бальзака. Однако стоило отойти от рокового шеста подальше, как наступало мгновенное успокоенье.

Так, например, меня не лихорадило на лекциях Савина, потому что этот профессор в типы не годился. Он читал с настоящим талантом, выставлявшим по мере того, как рос его предмет. Время не обижалось на него. Оно не рвалось вон из его утверждений, не скакало в отдушины, не бросалось опрометью к дверям. Оно не задувало дыма назад в борова и, сорвавшись с крыши, не хваталось за крюк уносящегося во вьюгу трамвайного прицепа. Нет, с головой уйдя в английское средневековье или Робеспьеров конвент, оно увлекало за собой и нас, а с нами и все, что нам могло вообразиться живого за высокими университетскими окнами, выведенными у самых карнизов.

Я также оставался здоров в одном из номеров дешевых мебелирашек, где в числе нескольких студентов вол занятия с группой взрослых учеников. Никто тут не блистал талантами. Достаточно было и того, что, не ожидая ниоткуда наследства, руководители и руководимые объединялись в общем усилии сдвинуться с мертвой точки, к которой собиралась пригвоздить их жизнь. Как и преподаватели, среди которых имелись оставленные при университете, они были для своих званий малотипичны. Мелкие чиновники и служащие, рабочие, лакеи и почтальоны, они ходили сюда затем, чтобы стать однажды чем-нибудь другим.

Меня не лихорадило в их деятельной среде, и, в редких ладах с собою, я часто заворачивал отсюда в соседний переулок, где в одном из дворовых флигелей Златоустинского монастыря целыми артелями проживали цветочники. Именно здесь запасались полною флорой Ривьеры мальчишки, торговавшие ею на Петровке в разнос. Оптовые мужики выписывали ее из Ниццы, и на месте у них эти сокровища можно было достать за совершенный бесценно. Особенно тянуло к ним с перелома учебного года, когда, открыв в один прекрасный вечер, что занятия давно ведутся не при огне, светлые сумерки марта все больше и больше зачашали в грязные номера, а потом и вовсе уже не отставали и на пороге гостиницы по окончании уроков. Не покрытая, против обыкновения, низким платком зимней ночи, улица как из-под земли выростала у выхода с какой-то сухой сказкой на чуть шевелящихся губах. По дюжей мостовой отрывисто шаркал весенний воздух. Точно обтянутые живой кожей, очертания переулков дрожали зябкой дрожью, заждавшись первой звездой, появлению которой томительно оттягивало ненасытное, баснословно досужее небо.

Вонючую галерею до потолка загромождали порошние плетушки в иностранных марках под звучными итальянскими штемпелями. В ответ на войлочное кряхтенье двери наружу выкатывалось, как за нуждой, облако белого пара, и что-то неслыханно волнуемое угадывалось уже и в нем. Напролет против сеней, в глубине постепенно понижавшейся горницы, толпились у крепостного окошка малолетние разносчики и, приняв подочтенный товар, рассовывали его по корзинкам. Там же, за широким столом, сыновья хозяина молчаливо вспарывали новые, только что с таможни привезенные посылки. Разогнутая надвое, как книга, оранжевая подкладка обнажала свежую сердцевину тростниковой коробки. Сплотившиеся путла похолодевших фиалок вынимались цельным куском, точно синие слои вяленой малаги. Они наполняли комнату, похожую на дворницкую, таким одуряющим благоуханьем, что и столбы предвечернего сумрака и пластавшиеся по полу тени казались выкроенными из сырого темно-лилового дерна.

Однако настоящие чудеса ждали еще впереди. Пройдя в самый конец двора, хозяин отмыкал одну из дверей каменного сарая, поднимал за кольцо погребное творило, и в этот миг сказка про Али Бабу и сорок разбойников сбывалась во всей своей ослепительности. На дне сухого подполья разрывчато, как солнце, горели четыре репчатые молнии, и, соперничая с лампами, безумствовали в огромных лоханях, отобранные по колерам и породам, жаркие снопы пионов, желтых ромашек, тюльпанов и анемонов. Они дышали и волновались, точно тягаясь друг с другом. Нахлынув с неожиданной силой, пыльную душистость мимоз смывала волна светлого запаха, водянистого и изнизанного жидкими иглами аниса. Это ярко, как до белизны разведенная настойка, пахли нарциссы. Но и тут всю эту бурю ревности побеждали черные кокарды фиалок. Скрытные и полусумасшедшие, как зрочки без белка, они гипнотизировали своим безучастием. Их сладкий, непрокашлянный дух заполнял с погребного дна широкую раму лаза. От них закладывало грудь каким-то деревенистым плевритом. Этот запах что-то напоминал и ускользал, оставляя в дураках сознание.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Казалось, что представление о земле, склоняющее их к ежегодному возвращению, весенние месяцы составили по этому запаху, и родники греческих поверий о Деметре{34} были где-то невдалеке.

7

В то время и много спустя я смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость и ничего хорошего от них не ждал. Был человек, С. Н. Дурылин, уже и тогда поддерживавший меня своим одобрением. Объяснялось это его беспримерной отзывчивостью. От остальных друзей, уже выдавших меня почти ставшим на ноги музыкантом, я эти признаки нового несовершеннолетия тщательно скрывал.

Зато философией я занимался с основательным увлечением, предполагая где-то в ее близости зачатки будущего приложения к делу. Круг предметов, читавшихся по нашей группе, был так же далек от идеала, как и способ их преподавания. Это была странная мешанина из отжившей метафизики и неоперившегося просвещения. Согласно ради оба направления поступались последними остатками смысла, который мог бы им еще принадлежать, взятым в отдельности. История философии превращалась в беллетристическую догматику, психология же вырождалась в ветреную пустяковину брошюрного пошиба.

Молодые доценты, как Шпет, Самсонов и Кубицкий, порядка этого изменить не могли. Однако и старшие профессора были не так уж в нем виноваты. Их связывала необходимость читать популярно до азбучности, сказавшаяся уже и в те времена. Не доходя отчетливо до сознания участников, кампания по ликвидации неграмотности была начата именно тогда. Сколько-нибудь подготовленные студенты старались работать самостоятельно, все более и более привязываясь к образцовой библиотеке университета. Симпатии распределялись между тремя именами. Большая часть увлекалась Бергсоном{35}. Приверженцы геттингенского гуссерлианства{36} находили поддержку в Шпете{37}. Последователи Марбургской школы были лишены руководства и, предоставленные самим себе, объединялись случайными разветвлениями личной традиции, шедшей еще от С. Н. Трубецкого.

Замечательным явлением этого круга был молодой Самарин. Прямой отпрыск лучшего русского прошлого, к тому же связанный разными градациями родства с историей самого здания по углам Никитской, он раза два в семестр заявлялся на иное собрание какого-нибудь семинария, как отделенный сын на родительскую квартиру в час общего обеденного сбора. Референт прерывал чтение, дожидаясь, пока долговязый оригинал, смущенный тишиной, которую он вызвал и сам растягивал выбором места, взберется по трескучему помосту на крайнюю скамью дощатого амфитеатра. Но только начиналось обсуждение доклада, как весь грохот и скрип, втащенный только что с таким трудом под потолок, возвращался вниз в обновленной и неузнаваемой форме. Придравшись к первой оговорке докладчика, Самарин обрушивал оттуда какой-нибудь экспромт из Гегеля или Когена, скатывая его как шар по ребристым уступам огромного ящичного склада. Он волновался, проглатывал слова и говорил прирожденно громко, выдерживая голос на той ровной, всегда одной, с детства до могилы усвоенной ноте, которая не знает шепота и крика и вместе с округлой картавостью, от нее неотделимой, всегда разом выдает породу. Потеряв его впоследствии из виду, я невольно вспомнил о нем, когда, перечитывая Толстого, вновь столкнулся с ним в Нехлюдове.

8

Хотя у летней кофейни на Тверском бульваре не было своего названия, звали ее все Café grec. Ее не закрывали на зиму, и тогда ее назначение становилось странною загадкой. Однажды не сговариваясь, по случайности, сошлись в этом голом павильоне Локс, Самарин и я. Мы были единственными его посетителями не только в тот вечер, но, может быть, и за весь истекший сезон. Дело переламывалось к теплу, потягивало весной. Только появился и едва подсел к нам Самарин, как зафилософствовал и, вооружась сухим бисквитом, стал отбивать им, как регентским камертоном, логические члененья речи. Поперек павильона протянулся кусок гегелевой бесконечности, составленной из сменяющихся утверждений и отрицаний. Вероятно, я сказал ему о теме, которую избрал для кандидатского сочинения, вот он и соскочил с Лейбница{38} и математической бесконечности на диалектическую. Вдруг он заговорил о Марбурге. Это был первый рассказ о самом городе, а не о школе, какой я услышал. Впоследствии я убедился, что о его старине и поэзии говорить иначе и нельзя, тогда же, под стрекотанье вентиляционной вертушки, мне это влюбленное описание было в новинку. Внезапно он спохватился, что шел сюда не кофейничать и только на минуту, вспугнул хозяина, дремавшего в углу за газетой, и, узнав, что телефон в неисправности, вывалился из обледенелого скворешника еще

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
шумнее, чем ввалился. Вскоре поднялись и мы. Погода переменялась. Поднявшийся ветер стал шпарить февральской крупой. Она ложилась на землю правильными мотками, восьмеркой. Было в ее яростном петлянии что-то морское. Так, мах к маху, волнистыми слоями складывают канаты и сети. Дорогой Локс несколько раз заговаривал на свою излюбленную тему о Стендале, я же отмалчивался, чему немало способствовала метель. Я не мог позабыть о слышанном, и мне жалко было городка, которого, как я думал, мне никогда, как ушей своих, не видать.

Это было в феврале, а в апреле месяце как-то утром мама объявила, что скопила из заработков и сберегла на хозяйство двести рублей, которые мне и дарит с советом съездить за границу. Не изобразить ни радости, ни полной неожиданности подарка, ни его незаслуженности. Фортепьянного бренчанья по такой сумме надо было натерпеться немало. Однако отказываться у меня не было сил. Выбирать маршрут не приходилось. Тогда европейские университеты находились в постоянной осведомленности друг о друге. Начав в тот же день беготню по канцеляриям, я вместе с немногочисленными документами унес с Моховой некоторое сокровище. Это был двумя неделями раньше отпечатанный в Марбурге подробный перечень курсов, предположенных к чтению на летнем семестре 1912 года. Изучая проспект с карандашом в руке, я не расставался с ним ни на ходу, ни за решетчатыми стойками присутствий. От моей потерянности за версту разило счастьем, и, заражая им секретарей и чиновников, я, Сам того не зная, подгонял и без того несложную процедуру.

Программа у меня, разумеется, была спартанская. Третий, а за границей, если придется, и четвертый класс, поездка последней скорости, комната в какой-нибудь подгородной деревушке, хлеб с колбасой да чай. Мамино самопожертвованье обязывало к удесятеренной жадности. За ее деньги следовало попасть еще и в Италию. Кроме того, я знал, что очень чувствительную долю поглотит вступительный взнос в университет и оплата отдельных семинариев и курсов. Но если б у меня денег было и вдесятеро больше, я по тем временам от этой росписи по отступил бы. Я не знаю, как распорядился бы остатком, но ничто бы на свете меня тогда во второй класс не перевело и никаких следов на ресторанной скатерти оставить не склонило. Терпимость в отношении удобств и потребность в уюте появились у меня только в послевоенное время. Оно наставило таких препятствий тому миру, который не допускал в мою комнату никаких прикрас и поблажек, что временно не мог не измениться и весь мой характер.

9

У нас сходил еще снег, и небо кусками выплывало из-под наста на воду, как выскользнувшая из-под кальки переводная картинка, а по всей Польше жарко цвели яблоня, и она неслась с утра на ночь и с запада на восток, по-летнему бессонная, какой-то романской частью славянского замысла.

Берлин показался мне городом подростков, получивших накануне в подарок тесаки и каски, трости и трубки, настоящие велосипеды и сюртуки, как у взрослых. Я застал их на первом выходе, они не привыкли еще к перемене, и каждый важничал тем, что ему вчера выпало на долю. На одной из превосходнейших улиц меня окликнуло из книжной витрины Наторпово руководство по логике, и я вошел за ним с ощущеньем, что увижу завтра автора въяве. Из двух суток пути я провел уже одну ночь без сна на немецкой территории, теперь мне предстояла другая.

Откидные полаты в третьем классе заведены только у нас в России, за границей же за дешевое передвиженье приходится отдуваться ночами, клюя носом вчетвером на глубоко выбранной и разделенной подлокотниками скамейке. Хотя на этот раз обе лавки отделенья были к моим услугам, мне было не до сна. Лишь изредка с большими перерывами входили на перегон-другой отдельные пассажиры, больше студенты, и, безмолвно откланявшись, проваливались в теплую ночную неизвестность. При каждой их смене под крыши перронов вкатывались спящие города. Исконное средневековое открывалось мне впервые. Его подлинность была свежа и страшна, как всякий оригинал. Лязгая знакомыми именами, как голой сталью, путешествие вынимало их одно за другим из читаных описаний, точно из пыльных ножен, изготовленных историками.

На подлете к ним поезд вытягивался кольчужным чудом из десяти клепаных кузовов. Кожаный напуск переходов вспучивался и обвисал кузнечными мехами. Залыпанное огнями вокзала, в чистых бокалах ясно лучилось пиво. По каменным платформам плавно удалялись порожняком багажные тележки на толстых и точно каменных катках. Под сводами колоссальных дебаркадеров потели торсы короткорылых локомотивов.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Казалось, что на такую высоту их занесла игра низких колес, неожиданно замерших на полном заводе.

Отовсюду к пустынному бетону тянулись его шестисотлетние предки. Четвертованные косыми балками трельяжа стены разминали свою сонную роспись. На них теснились пажи, рыцари, девушки и рыжебородые людоеды, и клетчатая дранка шпалерника повторялась, как орнамент, на решетчатых наличниках шлемов, в разрезах шарообразных рукавов и в крестчатой шнуровке корсажей. Дома подступали почти вплотную к опущенному окну. Вконец потрясенный, я лежал на его широком ребре, зашептываясь до самозабвенья коротким восклицанием восторга, теперь устаревшим. Но было еще темно, и скачущие лапы дикого винограда едва чернелись на штукатурке. Когда же вновь ударял ураган, отзывавшийся углем, росой и розами, то, внезапно обданный горстью искр из рук увлеченно несшейся ночи, я быстро поднимал окно и задумывался о непредвидимостях завтрашнего дня. Но надо хоть как-нибудь сказать о том, куда и зачем я ехал.

Создание гениального Когена, подготовленное его предшественником по кафедре Фридрихом Альбертом Ланге{39}, известным у нас по «Истории материализма», Марбургское направление покоряло меня двумя особенностями. Во-первых, оно было самобытно, перерывало все до основания и строило на чистом месте. Оно не разделяло ленивой рутины всевозможных «измов», всегда цепляющихся за свое рентабельное всезнайство из десятых рук, всегда невежественных и всегда, по тем или другим причинам, боящихся пересмотра на вольном воздухе вековой культуры. Не подчиненная терминологической инерции Марбургская школа обращалась к первоисточникам, т. е. к подлинным распискам мысли, оставленным ею в истории науки. Если ходячая философия говорит о том, что думает тот или другой писатель, а ходячая психология – о том, как думает средний человек, если формальная логика учит, как надо думать в булочной, чтобы не обсчитаться сдачей, то Марбургскую школу интересовало, как думает наука в ее двадцатипятивековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и исходов мировых открытий. В таком, как бы авторизованном самой историей, расположении философия вновь молодела и умнела до неузнаваемости, превращаясь из проблематической дисциплины в исконную дисциплину о проблемах, каковой ей и надлежит быть.

Вторая особенность Марбургской школы прямо вытекала из первой и заключалась в ее разборчивом и взыскательном отношении к историческому наследству. Школе чужда была отвратительная снисходительность к прошлому, как к некоторой богадельне, где кучка стариков в хламидах и сандалиях или париках и камзолах врет непроглядную отсебятину, извинимую причудами коринфского ордера, готики, барокко или какого-нибудь иного зодческого стиля. Однородность научной структуры была для школы таким же правилом, как анатомическое тождество исторического человека. Историю в Марбурге знали в совершенстве и не уставали тащить сокровище за сокровищем из архивов итальянского Возрождения, французского и шотландского рационализма и других плохо изученных школ. На историю в Марбурге смотрели в оба гегельянских глаза, т. е. гениально обобщенно, но в то же время и в точных границах здравого правдоподобья. Так, например, школа не говорила о стадиях мирового духа, а, предположим, о почтовой переписке семьи Бернулли{40}, но при этом она знала, что всякая мысль сколь угодно отдаленного времени, застигнутая на месте и за делом, должна полностью допустить нашу логическую комментацию. В противном случае она теряет для нас непосредственный интерес и поступает в ведение археолога или историка костюмов, нравов, литератур, общественно-политических веяний и прочего.

Обе эти черты самостоятельности и историзма ничего не говорят о содержании Когеновой системы, но я не собирался, да и не взялся бы говорить о ее существовании. Однако обе они объясняют ее притягательность. Они говорят о ее оригинальности, то есть о живом месте, занятом ею в живой традиции для одной из частей современного сознания.

Как одна из его частиц, я мчался к центру притяжения. Поезд пересекал Гарц. Дымным утром, выскочив из лесу, промелькнул средневековым углекопом тысячетный Гослар. Позже пронесся Геттинген. Имена городов становились все громче. Большинство из них поезд отшвыривал с пути на всем лету, не нагибаясь. Я находил названия этих откатывающихся волчков на карте. Вокруг них подымались стародавние подробности. Они вовлекались в их круговорот, как звездные спутники и кольца. Иногда горизонт расширялся как в «Страшной мести»{41}, и, дымясь сразу в несколько орбит, земля в отдельных городках и замках начинала волновать, как ночное небо.

10

Два года, предшествовавших поездке, слово Марбург не сходило у меня с языка. Упоминание о городе в главах о Реформации имелось в каждом учебнике для средней школы. Книжечка о Елизавете Венгерской{42}, погребенной в нем в начале XIII века, была «Посредником»{43} издана даже для детей. Любая биография Джордано Бруно в числе городов, где он читал на роковом пути из Лондона на родину, называла и Марбург. Между тем, как это ни маловероятно, я ни разу в Москве не догадался о тождестве, существовавшем между Марбургом этих упоминаний и тем, ради которого я грыз таблицы производных и дифференциалов, и с Мак-Лоррена{44} перескакивал на Максвелла{45}, окончательно мне недоступного. Надо было, подхватя чемодан, пройти мимо рыцарской гостиницы и старой почтовой станции, чтобы оно встало передо мной впервые.

Я стоял, заламывая голову и задыхаясь. Надо мной высился головокружительный откос, на котором тремя ярусами стояли каменные макеты университета, ратуши и восьмисотлетнего замка. С десятого шага я перестал понимать, где нахожусь. Я вспомнил, что связь с остальным миром забыл в вагоне и ее теперь вместе с крюками, сетками и пепельницами назад не воротить. Над башенными часами празднично стояли облака. Место казалось им знакомым. Но и они ничего не объясняли. Было видно, что, как сторожа этого гнезда, они никуда отсюда не отлучаются. Царила полуденная тишина. Она сносила с тишиной простершейся внизу равнины. Обе как бы подводили итог моему обалдению. Верхняя пересылалась с нижней томительными веяньями сирени. Выжидательно чирикали птицы. Я почти не замечал людей. Неподвижные очертанья кровель любопытствовали, чем все это кончится.

Улицы готическими карлицами лепились по крутизнам. Они располагались друг под другом и своими подвалами смотрели за чердаки соседних. Их теснины были заставлены чудесами коробчатого зодчества. Расширяющиеся кверху этажи лежали – на выпущенных бревнах и, почти соприкасаясь кровлями, протягивали друг другу руки над мостовой. На них не было тротуаров. Не на всех можно было разойтись.

Вдруг я понял, что пятилетнему шарканью Ломоносова{46} по этим самым мостовым должен был предшествовать день, когда он входил в этот город впервые, с письмом к Лейбнице ученику Христиану Вольфу, и никого еще тут не знал. Мало сказать, что с того дня город не изменился. Надо знать, что таким же неожиданно маленьким и древним мог он быть уже и для тех дней. И, повернув голову, можно было потрястись, повторяя в точности одно, страшно далекое, телодвижение. Как и тогда, при Ломоносове, рассыпавшись у ног всем сизым кишением шиферных крыш, город походил на голубиную стаю, замороженную на живом слете к сменной кормушке. Я трепетал, справляя двухсотлетие чужих шейных мышц. Придя в себя, я заметил, что декорация стала реальностью, и отправился разыскивать дешевую гостиницу, указанную Самариним.

Часть вторая

1

Я снял комнату на краю города. Дом стоял в ряду последних по Гиссенской дороге. В этом месте каштаны, которыми она была обсажена, как по команде заходя друг другу в плечо, всей шеренгой забирали вправо. Оглянувшись в последний раз на хмурую гору со старым городком, шоссе пропадало за лесом.

При комнате был дрянной балкончик, выходивший на соседний огород. Там стоял снятый с осой вагон старой марбургской конки, превращенный в курятник.

Комнату сдавала старушка чиновница. Она жила вдвоем с дочерью на тощую вдовью пенсию. Мать и дочь были на одно лицо. Как бывает всегда с женщинами, пораженными базедовой болезнью, они перехватывали мой взгляд, воровски устремленный на их воротнички. В эти мгновенья мне воображались детские воздушные шары, собранные к кончику ухом и натуго перевязанные. Может быть, они об этом догадывались.

Их глазами, из которых хотелось выпустить немного воздуха, положив им ладонь на горло, смотрел в мир старый прусский пиетизм.

Однако для данной части Германии этот тип был нехарактерен. Здесь господствовал другой, среднегерманский, и даже в природу закрадывались первые подозренья о юге и западе, о существовании Швейцарии и Франции. И было очень кстати, перед лицом

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
ее лиственных догадок, зеленевших в окне, перелистывать французские томы
Лейбница и Декарта{47}.

За полями, подступавшими к мудреному птичнику, виднелась деревня Окерсгаузен.
Это было длинное становище длинных риг, длинных телег и здоровенных першеронов.
Оттуда вдоль по горизонту тащилась другая дорога. По вступлении в город она
окрещивалась Barfüsserstrasse. Босомыгами же в средние века звали
монахов-францисканцев.

Вероятно, по ней именно каждый год приходила сюда зима. Потому что, глядя в ту
сторону с балкона, можно было представить себе много подходящего. Ганса
Сакса{48}. Тридцатилетнюю войну. Сонную, а не волнуемую природу исторического
бедствия, когда оно измеряется десятилетиями, а не часами. Зимы, зимы, зимы, и
потом, по прошествии века, пустынного, как зевок людоеда, первое возникновение
новых поселений под бродячими небесами, где-нибудь в дали одичавшего Гарца, с
черными, как пожарища, именами, вроде Elend, Sorge[13] и тому подобными.

Сзади, в стороне от дома, подминая под себя кусты и отраженья, протекала река
Лан. За ней тянулось полотно железной дороги. Вечерами в глухое сопенье кухонной
спиртовки врвалось учащенное позвякивание механического колокола, под звон
которого сам собою опускался железнодорожный шлагбаум. Тогда в темноте у
переезда вырастал человек в мундире, в предупреждение пыли быстро опрыскивавший
его из лейки, и в тот же миг поезд пронесся мимо, судорожно бросаясь вверх,
вниз и во все стороны сразу. Сноп его барабанного света попадали в хозяйские
кастрюли. И всегда пригорало молоко.

На речное масло Лана соскальзывала звезда-другая. В Окерсгаузене ревел только
что пригнанный скот. На горе по-оперному вспыхивал Марбург. Если бы могло так
случиться, что братья Grimm опять, как сто лет назад, приехали сюда изучать
право у знаменитого юриста Савиньи{49}, они сызнова уехали бы отсюда
собираетелями сказок. Удостоверившись, что ключ от входных дверей при мне, я
отправлялся в город.

Исконные горожане уже спали. Навстречу попадались одни студенты. Все точно
выступали в вагнеровских «Мейстерзингерах». Дома, казавшиеся декорациями уже и
днем, сближались еще теснее. Висячим фонарям, перекинутым над мостовой со стены
на стену, негде было разгуляться: Их свет изо всех сил обрушивался на звуки. Он
обливал гул удалявшихся пяток и взрывы громкой немецкой речи лилиевидными
бликами. Точно электричество знало преданье, сложенное об этом месте.

Давно-давно, лет за полтысячи до Ломоносова, когда новым годом, годом
повседневности, был на земле тысяча двести тридцатый год, сверху из Марбургского
замка по этим склонам спускалось живое историческое лицо – Елизавета Венгерская.

Это такая даль, что если ее достигнуть воображеньем, в точке прибытия сама собой
подымется снежная буря. Она возникнет от охлаждения, по закону побежденной
недостигаемости. Там наступит ночь, горы оденутся лесом, в лесах заведутся дикие
звери. Людские же нравы и обычаи покроются ледяной корой.

У будущей святой, канонизованной спустя три года после смерти, был духовником
тиран, то есть человек без воображенья. Трезвый практик видел, что истязанья,
налагаемые на исповедницу, приводят ее в состояние восхищенья. В поисках
мучений, которые были бы ей в истинную муку, он запретил ей помогать бедным и
больным. Тут историю сменяет легенда. Будто бы это было ей не под силу. Будто,
чтобы обелить грех послушанья, снежная вьюга заслоняла ее своим телом на пути в
нижний город, превращая хлеб в цветы на срок ее ночных переходов.

Так приходится иногда природе отступить от своих законов, когда убежденный
изувер чересчур настаивает на исполнении своих. Это ничего, что голос
естественного права облечен тут в форму чуда. Таков критерий достоверности в
религиозную эпоху.

У нас – свой, но нашей защитницей против казуистики природа быть не перестанет.

По мере приближенья к университету улица, летевшая под гору, все больше кривела
и суживалась. В одном из фасадов, испекшихся в золе веков, подобно картошке,
имелась стеклянная дверь. Она открывалась в коридор, выводивший на один из
северных обрывов. Там была терраса, уставленная столиками и залитая

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
электрическим светом. Терраса висела над низиной, доставлявшей когда-то столько беспокойств ландграфине. С тех пор город, расположившийся по пути ее ночных вылазок, застыл на возвышеньи в том виде, какой принял к середине шестнадцатого столетия. Низина же, растравлявшая ее душевный покой, низина, заставлявшая ее нарушать устав, низина, по-прежнему приводимая в движение чудесами, шагала в полную ногу с временем.

С нее тянуло ночной сыростью. На ней бессонно гроыхало железо, и, стекаясь и растекаясь, мызгали взад и вперед запасные пути. Что-то шумное поминутно падало и подымалось. Водяной грохот плотины до утра додерживал ровную ноту, оглушительно взятую с вечера. Режущий визг лесопильни в терцию подтягивал быкам на бойне. Что-то поминутно лопалось и озарялось, пускало пары и опрокидывалось. Что-то ерзало и заволакивалось крашеным дымом.

Кафе посещалось преимущественно философами. У других были свои. На террасе сидели Г-в и Л-ц{50} и немцы, впоследствии получившие кафедры у себя и за границей. Среди датчан, англичанок, японцев и всех тех, что съехались со всех концов света послушать Когена, уже раздавался знакомый, разгоряченно певучий голос. Это адвокат из Барселоны, ученик Штамллера{51}, деятель недавней испанской революции, второй год пополнявший здесь свое образование, декламировал своим знакомым Верлена.

Уже я тут многих знал и никого не дичился. Уже увязив язык в двух обещаньях, я с тревогой готовился к дням, когда буду отчитываться по Лейбницу у Гартмана и по одной из частей «Критики практического разума»{52} у главы школы. Уже образ последнего, давно угаданный, но оказавшийся страшно недостаточным при первом знакомстве, стал моей собственностью, то есть повелю мне произвольное существование, меняясь сообразно тому, погружался ли он на дно моего бескорыстного восхищенья, или же всплывал на поверхность, когда я с бредовым честолюбьем новичка гадал о том, буду ли я им когда-нибудь замечен и приглашен на один из его воскресных обедов. Последнее сразу подымало человека в здешнем мненьи, потому что знаменовало собою начало новой философской карьеры.

Уже я успел на нем проверить, как драматизируется большой внутренний мир в подаче большого человека. Уже я знал, как подымет голову и отступит назад хохлатый старик в очках, повествуя о греческом понятии бессмертия, и поведет рукой по воздуху в сторону марбургской пожарной части, толкуя образ Елисейских полей{53}. Уже я знал, как в другом каком-нибудь случае, вкрадчиво подъехав к докантовой метафизике, разворкуется он, ферлякурничая с ней, да вдруг как гаркнет, закатив ей страшный нагоняй с цитатами из Юма. Как, раскашлявшись и выдержав долгую паузу, протянет он затем утомленно и миролюбиво: «Und nun, meine Herrn...»[14] И это будет значить, что выговор веку сделан, представленье кончилось и можно перейти к предмету курса.

Между тем на террасе никого почти не оставалось. На ней гасили электричество. Обнаруживалось, что уже утро. Взглянув вниз за перила, мы убеждались, что ночной низины как не бывало. Замещавшая ее панорама ничего не знала о своей ночной предшественнице.

2

В это время в Марбург приехали сестры В-е{54}. Они были из богатого дома. Я в Москве еще в гимназические годы дружил со старшей и давал ей нерегулярные уроки неведомо чего. Вернее, в доме оплачивали мои беседы на самые непредвиденные темы.

Но весной 1908 года совпали сроки нашего окончанья гимназии, и одновременно с собственной подготовкой я взялся готовить к экзаменам и старшую В-ю.

Большинство моих билетов содержало отдели, легкомысленно упущенные в свое время, когда их проходили в классе. Мне не хватало ночей на их прохожденье. Однако урывками, не разбирая часов и чаще всего на рассвете, я забегал к В-й для занятий предметами, всегда расхोдившимися с моими, потому что порядок наших испытаний в разных гимназиях, естественно, не совпадал. Эта путаница осложняла мое положение. Я ее не замечал. О своем чувстве к В-й, уже не новом, я знал с четырнадцати лет.

Это была красивая, милая девушка, прекрасно воспитанная и с самого младенчества избалованная старухой француженкой, не чаявшей в ней души. Последняя лучше моего

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru понимала, что геометрия, которую я ни свет ни заря проносил со двора ее лубимице, скорее Абелирова{55}, чем Эвклидова{56}. И, весело подчеркивая свою догадливость, она не отлучалась с наших уроков. Втайне я благодарил ее за вмешательство. В ее присутствии чувство мое могло оставаться в неприкосновенности. Я не судил его и не был ему подсуден. Мне было восемнадцать лет. По своему складу и воспитанью я все равно не мог и не осмелился бы дать ему волю.

Это было то время года, когда в горшочках с кипятком распускают краску, а на солнце, предоставленные себе самим, празднично греются сады, загроможденные сваленным отовсюду снегом. Они до краев налиты тихой, яркой водой. А за их бортами, по ту сторону заборов, стоят шеренгами вдоль горизонта садовники, грачи и колокольни и обмениваются на весь город громкими замечаниями слова по два, по три в сутки. О створку форточки трется мокрое шерстисто-серое небо. Оно полно неушедшей ночи. Оно молчит часами, молчит, молчит, да вдруг возьмет и вкочит в комнату круглый грохоток тележного колеса. Он обрывается так внезапно, точно это палочка-ручалочка и у телеги другого дела не было, как с мостовой в форточку. Так что теперь ей больше не водить. И еще загадочнее праздничная тишина, ключами вливающаяся в дыру, вырубленную звуком.

Не знаю, отчего все это запечатлелось у меня в образе классной доски, не дочиста оттертой от мела. О, если бы остановили нас тогда и, отмыв доску до влажного блеска, вместо теорем о равновеликих пирамидах, каллиграфически, с нажимами изложили то, что нам предстояло обоим. О, как бы мы обомлели!

Откуда же это соображение и отчего оно мне тут явилось?

Оттого, что была весна, вчерне заканчивавшая выселенье холодного полугодья, и кругом на земле, как неразвешанные зеркала, лицом вверх, лежали озера и лужи, говорившие о том, что безумно емкий мир очищен и помещенье готово к новому найму. Оттого, что первому, кто пожелал бы тогда, дано было вновь обнять и пережить всю, какая только есть на свете, жизнь. Оттого, что я любил В-ю.

Оттого, что уже одна заметность настоящего есть будущее, будущее же человека есть любовь.

3

Но на свете есть так называемое возвышенное отношение к женщине. Я скажу о нем несколько слов. Есть необозримый круг явлений, вызывающих самоубийства в отрочестве. Есть круг ошибок младенческого воображенья, детских извращений, юношеских голодовок, круг Крейцеровых сонат{57} и сонат, пишущихся против Крейцеровых сонат. Я побывал в этом кругу и в нем позорно долго пробыл. Что же это такое?

Он истерзывает, и, кроме вреда, от него ничего не бывает. И, однако, освобожденья от него никогда не будет. Все входящие людьми в историю всегда будут проходить через него, потому что эти сонаты, являющиеся преддверьем к единственно полной нравственной свободе, пишут не Толстые и Ведекинды{58}, а их руками – сама природа. И только в их взаимопротиворечьи – полнота ее замысла.

Основав материю на сопротивленьи и отделив факт от мнимости плотинной, называемой любовью, она, как о целостности мира, заботится о ее прочности. Здесь пункт ее помешательства, ее болезненных преувеличений. Тут, поистине можно сказать, она, что ни шаг, делает из мухи слона.

Но, виноват, слонов-то ведь она производит взаправду! Говорят, это главное ее занятие. Или это фраза? А история видов? А история человеческих имен? И ведь изготавливает-то она их именно тут, в зашлюзованных отрезках живой эволюции, у плотин, где так разыгрывается ее встревоженное воображение!

Нельзя ли в таком случае сказать, что в детстве мы преувеличиваем и у нас расстраивается воображение, потому что в это время, как из мух, природа делает из нас слонов?

Держась той философии, что только почти невозможное действительно, она до крайности затруднила чувство всему живому. Она по-одному затруднила его животному, по-другому – растению. В том, как она затруднила его нам, сказало ее захватывающе высокое мнение о человеке. Она затруднила его нам по

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru какими-нибудь автоматическими хитростями, но тем, что на ее взгляд обладает для нас абсолютной силой. Она затруднила его нам ощущением нашей мушиной пошлости, которое охватывает каждого из нас тем сильнее, чем мы дальше от мухи. Это гениально изложено Андерсоном в «Гадком утенке».

Всякая литература о поле, как и самое слово «пол», отдают несносной пошлостью, и в этом их назначенье. Именно только в этой омерзительности пригодны они природе, потому что как раз на страхе пошлости построен ее контакт с нами, и ничто не пошлое ее контрольных средств бы не пополнило.

Какой бы матерьял ни поставляла наша мысль по этому поводу, судьба этого матерьяла в ее руках. И с помощью инстинкта, который она прикомандировала к нам ото всего своего целого, природа всегда распоряжается этим матерьялом так, что все усилию педагогов, направленные к облегчению естественности, ее неизменно отягощают, и так это и надо.

Это надо для того, чтобы самому чувству было что побеждать. Не эту оторопь, так другую. И безразлично, из какой мерзости или ерунды будет сложен барьер. Движенье, приводящее к зачатию, есть самое чистое из всего, что знает вселенная. И одной этой чистоты, столько раз побеждавшей в веках, было бы достаточно, чтобы по контрасту все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью.

И есть искусство. Оно интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается, – больше человека. Он может зародиться только на ходу, и притом не на всяком. Он может зародиться только на переходе от мухи к слону.

Что делает честный человек, когда говорит только правду? За говореньем правды проходит время, этим временем жизнь уходит вперед. Его правда отстаёт, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил человек?

И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве человек смолкает и заговаривает образ. И оказывается: только образ поспекает за успехами природы.

По-русски врать значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В таком смысле и врет искусство. Его образ обнимает жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не изобразительны, а способны к вечному развитию.

Только искусство, твердя на протяжении веков о любви, не поступает в распоряжение инстинкта для пополнения средств, затрудняющих чувство. Взяв барьер нового душевного развития, поколение сохраняет лирическую истину, а не отбрасывает, так что с очень большого расстояния можно вообразить, будто именно в лице лирической истины постепенно складывается человечество из поколений.

Все это необыкновенно. Все это захватывающе трудно.

Нравственности учит вкус, вкусу же учит сила.

4

Сестры проводили лето в Бельгии. Стороной они узнали, что я – в Марбурге. В это время их вызвали на семейный сбор в Берлин. Проездом туда они пожелали меня проведать.

Они остановились в лучшей гостинице городка, в древнейшей его части. Три дня, проведенные с ними неотлучно, были непохожи на мою обычную жизнь, как праздники на будни. Без конца им что-то рассказывая, я упивался их смехом и знаками пониманья случайных окружающих. Я их куда-то водил. Обоих видели вместе со мной на лекциях в университете. Так пришел день их отъезда.

Накануне, накрывая к ужину, кельнер сказал мне: «Das ist wohl ihr Henkersmahl, nicht wahr?», то есть: «Покушайте напоследок, ведь завтра вам на виселицу, не правда ли?»

Утром, войдя в гостиницу, я столкнулся с младшей из сестер в коридоре. Взглянув на меня и что-то сообразив, она не здороваясь отступила назад и заперлась у себя в номере. Я прошел к старшей и, страшно волнуясь, сказал, что дальше так продолжаться не может и я прошу ее решить мою судьбу. Нового в этом, кроме одной настоятельности, ничего не было. Она поднялась со стула, пятясь назад перед

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
явностью моего волнения, которое как бы наступало на нее. Вдруг у стены она вспомнила, что есть на свете способ прекратить все это разом, и – отказала мне. Вскоре в коридоре поднялся шум. Это поволокли сундук из соседнего номера. Затем постучались к нам. Я быстро привел себя в порядок. Пора было отправляться на вокзал. До него было пять минут ходу.

Там уметь прощаться совсем оставило меня. Лишь только я понял, что простился с одною младшей, со старшей же еще и не начинал, у перрона вырос плавно движущийся курьерский из Франкфурта. Почти в том же движеньи, быстро приняв пассажиров, он быстро взял с места. Я побежал вдоль поезда и у конца перрона, разбежавшись, вскочил на вагонную ступеньку. Тяжелая дверца не была захлопнута. Разъяренный кондуктор преградил мне дорогу, в то же время держа меня за плечо, чтобы я, чего доброго, не вздумал жертвовать жизнью, устыдившись его резонов. Изнутри на площадку выбежали мои путешественницы. Кондуктору стали совать кредитки мне в избушку и на покупку билета. Он смилостивился, я прошел за сестрами в вагон. Мы мчались в Берлин. Сказочный праздник, едва не прервавшийся, продолжался, удесятеренный бешенством движенья и блаженной головной болью от всего только что испытанного.

Я вспрыгнул на ходу только для того, чтобы проститься, и снова забыл об этом, и опять вспомнил, когда было уже поздно. Не успел я опомниться, как прошел день, настал вечер и, прижав нас к земле, на нас надвинулся гулко дышащий навес берлинского дебаркадера. Сестер должны были встретить. Было нежелательно, чтобы при моих расстроенных чувствах их увидели вместе со мною. Меня убедили, что прощанье наше состоялось, и только я его не заметил. Я потонул в толпе, сжатой газообразными гулами вокзала.

Была ночь, моросил скверный дождик. До Берлина мне не было никакого дела. Ближайший поезд в нужном мне направлении отходил поутру. Я свободно мог бы дожидаться его на вокзале. Но мне невозможно было оставаться на людях. Лицо мое подергивало судорога, к глазам поминутно подступали слезы. Моя жажда последнего, до конца опустошающего прощанья осталась неутоленной. Она была подобна потребности в большой каденции, расшатывающей больную музыку до корня, с тем чтобы вдруг удалить ее всю одним рывком последнего аккорда. Но в этом облегченьи мне было отказано.

Была ночь, моросил скверный дождик. На привокзальном асфальте было так же дымно, как на дебаркадере, где мячом в веревочной сетке пучилось в железе стекло шатра. Перецокивание улиц походило на углекислые взрывы. Все было затянуто тихим броженьем дождя. По непредвиденности оказии я был в чем вышел из дому, то есть без пальто, без вещей, без документов. Из номеров меня выпроваживали с одного взгляда, вежливо отговариваясь их переполненностью. Нашлось наконец место, где легкость моего хода не составила препятствий. Это были номера последнего разбора. Оставшись один в комнате, я сел боком на стул, стоявший у окна. Рядом был столик. Я уронил на него голову.

Зачем я так подробно обозначаю свою позу? Потому что я пробыл в ней всю ночь. Изредка, точно от чьего-то прикосновенья, я подымал голову и что-то делал со стеной, широко уходившей вкось от меня под темный потолок. Я как саженью промерял ее снизу своей неглядящей пристальностью. Тогда рыданья возобновлялись. Я вновь падал лицом на руки.

Я обозначил положение моего тела с такой точностью, потому что это было его утреннее положение на ступеньке летевшего поезда, и оно ему запомнилось. Это была поза человека, отвалившегося от чего-то высокого, что долго держало его и несло, а потом упустило и, с шумом пронеслось над его головой, скрылось навеки за поворотом.

Наконец я стал на ноги. Я оглядел комнату и распахнул окно. Ночь прошла, дождь повис туманной пылью. Нельзя было сказать, идет ли он или уже перестал. За номер было уплачено вперед. В вестибюле не было ни души. Я ушел, никому не сказавшись.

5

Тут только бросилось мне в глаза то, что началось, вероятно, раньше, но все время заслонялось близостью случившегося и уродливостью того, как плачет взрослый человек.

Меня окружали изменившиеся вещи. В существо действительности закралось что-то

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
неиспытанное. Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне и меня никогда не оставить.

Туман рассеялся, обещаю жаркий день. Мало-помалу город стал приходить в движение. По всем направлениям заскользили тележки, велосипеды, фургоны и поезда. Над ними незримыми султанами змеились людские планы и вожделья. Они дымились и двигались со сжатостью близких и без объяснения понятных притч. Птицы, дома и собаки, деревья и лошади, тюльпаны и люди стали короче и отрывистей, чем их знало детство. Свежий лаконизм жизни открылся мне, перешел через дорогу, взял за руку и повел по тротуару. Менее чем когда-либо я заслуживал братства с этим огромным летним небом. Но об этом пока не говорилось. Временно мне все прощалось. Я должен был где-то в будущем отработать утро его доверья. И все кругом было до головокруженья наделаю, как закон, согласно которому по таким ссудам никогда в долгу не остаются.

Достав без труда билет, я занял место в поезде. Ждать отхода пришлось недолго. И вот я вновь катил из Берлина в Марбург, но на этот раз, в отличие от первого, ехал днем, на готовое и – совершенно другим человеком. Я ехал с удобством на деньги, взаимобразно взятые у В., и образ моей марбургской комнаты то и дело мысленно вставал предо мною.

Против меня, задом к цели движенья, куря, качались в ряд: человек в пенсне, норовившем соскользнуть с носу в близко подставленную газету, чиновник лесного департамента с ягдташем через плечо и ружьем на дне вещевой сетки, и еще кто-то, и кто-то еще. Они стесняли меня не больше марбургской комнаты, мысленно видевшейся мне. Род моего молчанья их гипнотизировал. Изредка я намеренно его нарушал, чтобы проверить его власть над ними. Его понимали. Оно ехало со мной, я состоял в пути при его особе и носил его форму, каждому знакомую по собственному опыту, каждым любимую. А то, разумеется, соседи не платили бы мне безмолвным участием за то, что я скорее любезно третировал их, чем с ними общался, и скорее без позы позировал отделенью, чем в нем сидел. Ласки и собачьего чутья в купе было больше, чем сигарного и паровозного дыму, навстречу мчались старые города, и обстановка моей марбургской комнаты от времени до времени мысленно виделась мне. По какой же именно причине?

Недели за две до наезда сестер произошла безделица, для меня тогда немаловажная. Я выступил докладчиком в обоих семинариях. Доклады удались мне. Они получили одобренье.

Меня уговорили подробнее развить свои положенья и представить их еще в исходе летнего семестра. Я ухватился за эту мысль и заработал с удвоенным жаром.

Но именно по этому пылу искушенный наблюдатель определил бы, что ученого из меня никогда не выйдет. Я переживал изученье науки сильнее, чем это требуется предметом. Какое-то растительное мышление сидело во мне. Его особенностью было то, что любое второстепенное понятие, безмерно развертываясь в моем толковании, начинало требовать для себя пищи и ухода, и когда я под его влиянием обращался к книгам, я тянулся к ним не из бескорыстного интереса к знанию, а за литературными ссылками в его пользу. Несмотря на то, что работа моя осуществлялась с помощью логики, воображенья, бумаги и чернил, больше всего я любил ее за то, что по мере писанья она обрастала все сгущавшимся убором книжных цитат и сопоставлений. А так как при ограниченности срока мне в известную минуту пришлось отказаться от выписок, взамен которых я просто стал оставлять авторов на нужных мне разгибах, то наступил момент, когда тема моей работы матерьялизовалась и стала обозрима простым глазом с порога комнаты. Она вытянулась поперек помещенья подобьем древовидного папоротника, налегая своими листовыми разворотами на стол, диван и подоконник. Разрознить их значило разорвать ход моей аргументации, полная же их уборка была равносильна сожженью неперебеленной рукописи. Хозяйке было строго-настроено запрещено к ним прикасаться. В последнее время у меня не убирали. И когда дорогой я видел в воображеньи мою комнату, я, собственно говоря, видел во плоти свою философию и ее вероятную судьбу.

6

По приезде я не узнал Марбурга. Гора выросла и втянулась, город исхудал и почернел.

Мне отворила хозяйка. С головы до ног оглядев меня, она попросила, чтобы впредь

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru в таких случаях я заблаговременно извещал ее или ее дочь. Я сказал, что не мог их предупредить заранее, потому что встретил надобность, не заходя к себе, срочно побывать в Берлине. Она посмотрела на меня еще насмешливой. Мое быстрое появление належке, как с вечерней прогулки, с другого конца Германии не укладывалось в ее понятия. Это показалось ей неудачной выдумкой. Все время покачивая головой, она подала мне два письма. Одно было закрытое, другое – местной открыткой. Закрытое было от петербургской двоюродной сестры, неожиданно очутившейся во Франкфурте. Она сообщала, что направляется в Швейцарию и во Франкфурте пробудет три дня. Открытка, на треть исписанная безлично аккуратным почерком, была подписана другою, слишком знакомую по подписям под университетскими объявлениями, рукой Когена. Она содержала приглашение на обед в ближайшее воскресенье.

Между мной и хозяйкой произошел по-немецки такой примерно разговор. «Какой нынче день?» – «Суббота». – «Я чаю пить не буду. Да, чтоб не забыть. Мне завтра во Франкфурт. Разбудите меня, пожалуйста, к первому поезду». – «Но ведь, если не ошибаюсь, господин тайный советник...» – «Пустяки, успею». – «Но это невозможно. У господина тайного советника садятся за стол в двенадцать, а вы...» Но в этом попечении обо мне было что-то неприличное. Выразительно взглянув на старушку, я прошел к себе в комнату.

Я присел на кровать в состоянии рассеянности, вряд ли длившейся больше минуты, после чего, справясь с волной ненужного сожаления, сходил на кухню за щеткой и совком. Скинув пиджак и засучив рукава, я приступил к разборке коленчатого растенья. Спустя полчаса комната была как в день въезда, и даже книги из фундаментальной не нарушали ее порядка. Аккуратно увязав их в четыре тючка, чтобы были под рукою, как будет случай в библиотеку, я задвинул их ногою глубоко под кровать. В это время ко мне постучалась хозяйка. Она шла сообщить по указателю точный час отхода завтрашнего поезда. При виде происшедшей перемены она вся замерла и вдруг, тряхнув юбками, кофтой и наколкой, как шарообразно вспыренным опереньем, в состоянии трепещущего околоченья поплыла мне навстречу по воздуху. Она протянула мне руку и деревянно и торжественно поздравила с окончанием трудной работы. Мне не хотелось разочаровывать ее в другой раз. Я оставил ее в ее благородном заблуждении.

Потом я умылся и, утираясь, вышел на балкон. Вечерело. Растирая шею полотенцем, я смотрел вдаль, на дорогу, соединявшую Окерсгаузен и Марбург. Уже нельзя было вспомнить, как смотрел я в ту сторону в вечер своего приезда. Конец, конец! Конец философии, то есть какой бы то ни было мысли о ней.

Как и соседям в купе, ей придется считаться с тем, что всякая любовь есть переход в новую веру.

7

Удивительно, что я не тогда же уехал на родину. Ценность города была в его философской школе. Я в ней больше не нуждался. Но у него объявилась другая.

Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем изо всего искусства именно его происхождение переживаете всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок.

Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим, состоянием. Помимо этого состояния все на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство.

Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновение, и лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рождении. Впервые во всем объеме я это понял в описываемое время.

Хотя за объяснениями с В-ой не произошло ничего такого, что изменяло бы мое положение, они сопровождалась неожиданностями, похожими на счастье. Я приходил в отчаяние, она меня утешала. Но одно ее прикосновение было таким благом, что смывало волной ликованья отчетливую горечь услышанного и не подлежащего отмене.

Обстоятельства дня походили на шибкую и шумную беготню. Все время мы точно влетали с разбега во мрак и, не переводя дыхания, стрелой выбегали наружу. Так,

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru ни разу не присмотревшись, мы раз двадцать в течение дня побывали в трюме, полном народу, откуда приводится в движение гребная галера времени. Это был именно тот взрослый мир, к которому я с детских лет так ярко ревновал В-ую, по-гимназически любив гимназистку.

Вернувшись в Марбург, я оказался в разлуке не с девочкой, которую знал в продолжение шести лет, а с женщиной, виденной несколько мгновений после ее отказа. Мои плечи и руки больше не принадлежали мне. Они, как чужие, просились от меня в цепи, которыми человека приковывают к общему делу. Потому что вне железа я не мог теперь думать уже и о ней, и любил только в железе, только пленницу, только за холодный пот, в котором красота отбывает свою повинность. Всякая мысль о ней моментально смыкала меня с тем артельно-хоровым, что полнит мир лесом вдохновенно-затверженных движений и похоже на сражение, на каторгу, на средневековый ад и мастерство. Я понимаю то, чего не знают дети и что я называю чувством настоящего.

В начале «Охранной грамоты» я сказал, что временами любовь обгоняла солнце. Я имел в виду ту очевидность чувства, которая каждое утро опережала все окружающее достоверностью вести, только что в сотый раз наново подтвержденной. В сравнении с ней даже восход солнца приобретал характер городской новости, еще требующей проверки. Другими словами, я имел в виду очевидность силы, перевешивающую очевидность света.

Если бы при знаниях, способностях и досуге я задумал теперь писать творческую эстетику, я построил бы ее на двух понятиях, на понятии силы и символа. Я показал бы, что в отличие от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искусство интересуется жизнью при прохождении сквозь нее луча силового. Понятие силы я взял бы в том же широчайшем смысле, в каком берет его теоретическая физика, с той только разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о ее голосе, о ее присутствии. Я пояснил бы, что в рамках самосознания сила называется чувством.

Когда мы воображаем, будто в Тристане, Ромео и Юлии и других памятниках изображается сильная страсть, мы недооцениваем содержания. Их тема шире, чем эта сильная тема. Тома их – тема силы.

Из этой темы и рождается искусство. Оно более односторонне, чем думают. Его нельзя направить по произволу – куда захочется, как телескоп. Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещения. Оно его списывает с природы. Как же смещается натура? Подробности выигрывают в яркости, проигрывая в самостоятельности значенья. Каждую можно заменить другою. Любая драгоценна. Любая на выбор годится в свидетельства состоянья, которым охвачена вся переместившаяся действительность.

Когда признаки этого состоянья перенесены на бумагу, особенности жизни становятся особенностями творчества. Вторые бросаются в глаза резче первых. Они лучше изучены. Для них имеются термины. Их называют приемами.

Искусство реалистично как деятельность и символично как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело. Переносный смысл так же точно не значит ничего в отдельности, а отсылает к общему духу всего искусства, как не значат ничего порознь части смещенной действительности.

Фигурой всей своей тяги и символично искусство. Его единственный символ в яркости и необязательности образов, свойственной ему всему. Взаимозаменяемость образов есть признак положенья, при котором части действительности взаимно безразличны. Взаимозаменяемость образов, то есть искусство, есть символ силы.

Собственно, только сила и нуждается в языке вещественных доказательств. Остальные стороны сознания долговечны без замет. У них прямая дорога к воззрительным аналогиям света: к числу, к точному понятию, к идее. Но ничем, кроме движущегося языка образов, то есть языка сопроводительных признаков, не выразить себя силе, факту силы, силе, длительной лишь в момент явления.

Прямая речь чувства иносказательна, и ее ничем заменить [15].

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Я ездил к сестре во Франкфурт и к своим, к тому времени приехавшим к Баварию. Ко мне наезжал брат, а потом отец. Но ничего этого я не замечал. Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца.

Однажды я особенно увлекся. Была ночь из тех, что с трудом добиваются до ближайшего забора и, выбившись из сил, в угаре усталости свешиваются над землей. Полнейшее безветрие. Единственный признак жизни – это именно черный профиль неба, бессильно прислонившегося к плетню. И другой. Крепкий запах цветущего табака и левкоя, которым в ответ на это изнеможенье откликается земля. С чем только не сравнимо небо в такую ночь! Крупные звезды – как званный вечер, Млечный Путь – как большое общество. Но еще больше напоминает меловая мазня диагонально протянутых пространств ночную садовую грядку. Тут гелиотроп и матиолы. Их вечером поливали и свалили набок. Цветы и звезды так сближены, что похоже, и небо попало под лейку, и теперь звезд и белокрапчатой травки не расцепить.

Я увлеченно писал, и другая, нежели раньше, пыль покрывала мой стол. Та, прежняя, философская, скоплась из отщепенчества. Я дрожал за целостность моего труда. Нынешней я не стирал солидарности ради, симпатизируя щебню Гиссенской дороги. И на дальнем конце столовой клеенки, как звезда на небе, блистал давно не мытый чайный стакан.

Вдруг я встал, пронятый потом этого дурацкого всерастворенья, и зашагал по комнате. «Что за свинство! – подумал я. – Разве он не останется для меня гением? Разве это с ним я разрываю? Его открытке и моим подлым пряткам от него уже третья неделя. Надо объясниться. Но как это сделать?»

И я вспомнил, как он педантичен и строг. «Was ist Arperzepzion?»[16] – спрашивает он у экзаменуемого неспециалиста, и на его перевод с латинского что это означает... durchfassen (прощупать), – «Nein, das heisst durchfallen, mein Herr» (Нет, это значит провалиться), – раздается в ответ.

У него в семинариях читали классиков. Он обрывал среди чтения и спрашивал, к чему клонит автор. Назвать понятие требовалось наотруб, существительным, по-солдатски. Не только расплывчатости, но и близости к истине взамен ее самой он не терпел.

Он был туг на правое ухо. Именно с этой стороны подсел я к нему разбирать свой урок из Канта. Он дал мне разойтись и забыться и, когда я меньше всего этого ожидал, огорошил своим обычным: «Was meint der Alte?» (Что понимает старик?)

Я не помню, что это было такое, но допустим, что по таблице умноженья идей на это полагалось ответить, как на пятью пять, – «Двадцать пять», – ответил я. Он поморщился и махнул рукой в сторону. Последовало легкое видоизменение ответа, не удовлетворившее его своей несмелостью. Легко догадаться, что, пока он тыкал в пространство, вызывая знающих, мой ответ варьировался со все возрастающей сложностью. Все же пока говорилось о двух с половиной десятках или примерно о полусотне, разделенной надвое. Но именно увеличивавшаяся нескладность ответов приводила его во все большее раздражение. Повторить же то, что сказал я, после его брезгливой мины никто не решался. Тогда с движеньем, понятием как, дескать, выручай, Камчатка, он колыхнулся к другим. И: шестьдесят два, девяносто восемь, двести четырнадцать – радостно загремело кругом. Подняв руки, он еле унял бурю разликовавшегося вранья и, повернувшись в мою сторону, тихо и сухо повторил мне мой собственный ответ. Последовала новая буря, мне в защиту. Когда он взял все в толк, то оглядел меня, потрепал по плечу и спросил, откуда я и с какого у них семестра. Затем, сопя и хмурясь, попросил продолжать, все время приговаривая: «Sehr echt, sehr richtig; Sie merken wohl? Ja, ja; ach, ach, der Alte!» (Правильно, правильно; вы догадываетесь? Ах, ах, старик!) И много чего еще вспомнил я.

Ну как подступишься к такому? Что я скажу ему? «Verse?»[17] – протянет он. «Verse!» Мало изучил он человеческую бездарность и ее уловки? – «Verse».

9

Вероятно, все это было в июле, потому что цвели еще липы. Продираясь сквозь алмазины восковых соцветий, как сквозь зажигательные стекла, солнце черными кружочками прожигало пыльные листья.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Я уже и раньше часто проходил мимо учебной площадки. В полдень над ней трамбовочным хопром ходила пыль и слышалось глухое, содрогающееся бряцанье. Там учили солдат, и в часы ученья перед плацем застаивались зеваки – мальчишки из колбасных с лотками на плечах и городские школьники. И правда, было на что поглядеть. Врассыпную по всему полю попарно подскакивали и клевали друг друга шарообразные истуканы, похожие на петухов в мешках. На солдатах были стеганные ватники и наголовники из железной сетки. Их обучали фехтованью.

Зрелище не представляло для меня ничего нового. Я вдоволь нагляделся на него в течение лета.

Однако утром после описанной ночи, идучи в город и поравнявшись с полем, я вдруг вспомнил, что не дальше часу назад видел это поле во сне.

Так и не решив ничего ночью насчет Когена, я лег на рассвете, проспал утро, и вот перед самым пробуждением оно мне приснилось. Это был сон о будущей войне, достаточный, как говорят математики, – и необходимый.

Давно замечено, что, как много ни твердит о военном времени устав, вдальбываемый в ротах и эскадронах, перехода от посылок к выводу мирная мысль не в силах произвести. Ежедневно Марбург, строем не проходимый по причине его тесноты, обходили низом бледные и до лбов запыленные егеря в выгоревших мундирах. Но самое большее, что могло прийти в голову при их виде, так это писчебумажные лавки, где тех же егерей продавали листами, с гуммиарабиком в премию к каждой закупленной дюжине.

Другое дело во сне. Тут впечатленья не ограничивались надобностями привычки. Тут двигались и умозаключали краски.

Мне снилось пустынное поле, и что-то подсказывало, что это – Марбург в осаде. Мимо проходили, гуськом подталкивая тачки, бледные долговязые Неттельбеки. Был какой-то темный час дня, какого не бывает на свете. Сон был во фридрицианском стиле{59}, с шанцами{60} и земляными укреплениями. На батарейных высотах чуть отлечимо рисовались люди с подозрными трубами. Их с физической осязательностью обнимала тишина, какой не бывает на свете. Она рыхлою земляною вьюгой пульсировала в воздухе и не стояла, а совершалась. Точно ее все время подкидывали с лопат. Это было самое грустное сновиденье из всех, какие мне когда-либо являлись. Вероятно, я плакал во сне.

Во мне глубоко сидела история с В-ой. У меня было здоровое сердце. Оно хорошо работало. Работая ночью, оно подцепляло случайнейшие и самые бросовые из впечатлений дня. И вот оно задело за экзерцирплац{61}, и его толчка было достаточно, чтобы механизм учебного поля пришел в движение и само сновиденье, на своем круглом ходу, тихо пробило: «Я – сновиденье о войне».

Я не знаю, зачем я направлялся в город, но с такой тяжестью в душе, точно и голова у меня была набита землей для каких-то фортификационных целей.

Было обеденное время. В университете знакомых в этот час не оказалось. Семинарская читальня пустовала. К ней снизу подступали частные здания городка. Жара была немилосердная. Там и сям у подоконников возникали утопленники с отжеванными набок воротниками. За ними дымился полумрак парадных комнат. Изнутри входили испитые мученицы в капотах, проварившихся на груди, как в прачешных котлах. Я повернул домой, решив идти верхом, где под замковой стеной было много тенистых вилл.

Их сады пластом лежали на кузничном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне. Я мечтал о переулочке, круто спускавшемся вниз за одной из таких вилл. Там была тень. Я это знал. Я решил свернуть в него и немного отдышаться. Каково же было мое изумление, когда в том же обалденье, в каком я собрался в нем расположиться, я в нем увидел профессора Германа Когена. Он меня заметил. Отступление было отрезано.

Моему сыну седьмой год. Когда, не поняв французской фразы, он лишь догадывается о ее смысле по ситуации, среди которой ее произносят, он говорит: я это понял не из слов, а по причине. И точка. Не по причине того-то и того-то, а понял по причине.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Я воспользуюсь его терминологией, чтобы ум, которым доходят, в отличие от ума, который прогуливают ради манежной гигиены, назвать умом причинным.

Такой причинный ум был у Когена. Беседовать с ним было страшновато, прогуливаться – нешуточно. Опираясь на палку, рядом с вами с частыми остановками подвигался реальный дух математической физики, приблизительно путем такой же поступи, шаг за шагом подобравшей свои главные основоположенья. Этот университетский профессор в широком сюртуке и мягкой шляпе был в известном градусе налит драгоценною эссенцией, укупоривавшейся в старину по головам Галилеев, Ньютонов, Лейбницев и Паскалей.

Он не любил говорить на ходу, а только слушал болтовню спутников, всегда негладкую ввиду ступенчатости марбургских тротуаров. Он шагал, слушал, внезапно останавливался, изрекал что-нибудь едкое по поводу выслушанного и, оттолкнувшись палкой от тротуара, продолжал шествие до следующей афористической передышки.

В таких чертах и шел наш разговор. Упоминание о моей оплошности только ее усугубило, – он дал мне это понять убийственным образом без слов, ничего не прибавив к насмешливому молчанию упертой в камень палки. Его интересовали мои планы. Он их не одобрял. По его мнению, следовало остаться у них до докторского экзамена, сдать его и лишь после того возвращаться домой для сдачи государственного, с таким расчетом, чтобы, может быть, впоследствии вернуться на Запад и там обосноваться. Я благодарил его со всей пылкостью за это гостеприимство. Но моя признательность говорила ему гораздо меньше, чем моя тяга в Москву. В том, как я преподносил ее, он без ошибки улавливал какую-то фальшь и бестолочь, которые его оскорбляли, потому что, при загадочной непродолжительности жизни, он терпеть не мог искусственно укорачивающих ее загадок. И, сдерживая свое раздражение, он медленно спускался с плиты на плиту, дожидаясь, не скажет ли, наконец, человек дела после столь явных и томительных пустяков.

Но как мог я сказать ему, что философию забрасываю бесповоротно, кончать же в Москве собираюсь, как большинство, лишь бы кончить, а о последующем возвращении в Марбург даже не помышляю? Ему, прощальные слова которого перед выходом на пенсию были о верности большой философии, сказанные университету так, что по скамьям, где было много молодых слушательниц, замелькали носовые платочки.

10

В начале августа наши перебрались из Баварии в Италию и звали меня в Пизу. Мои средства истощились, их едва хватало на возвращение в Москву. Как-то вечером, каких впереди предвиделось немало, сидел я с Г-вым на исконной нашей террасе и жаловался на печальное состояние моих финансов. Он его обсуждал. Ему в разные времена довелось бедствовать всерьез, и как раз в эти периоды он много пошатался по свету. Он побывал в Англии и в Италии и знал способы прожить в путешествии почти задаром. Его план был таков, что на остаток денег мне следовало бы съездить в Венецию и Флоренцию, а потом к родителям на поправочный прикорм и за новой субсидией на обратную поездку, в чем, при скупом расходовании остатка, может быть, и не встретилось бы надобности. Он стал наносить на бумагу цифры, давшие и правда прескромный итог.

В кафе со всеми нами дружил старший кельнер. Он знал подноготную каждого из нас. Когда в разгар моих испытаний в гости ко мне приехал брат и стал стеснять днем в работе, чужак открыл у него редкие данные для бильярда и так приохотил к игре, что тот с утра уходил к нему совершенствоваться, оставляя комнату на весь день в мое распоряжение.

Он принял живейшее участие в обсуждении итальянского плана. Поминутно отлучаясь, он возвращался и, стуча карандашом по Г-ской смете, находил даже и ее недостаточно экономной.

Прибежав с одной из таких отлучек с толстым справочником под мышкой, он поставил на стол поднос с тремя бокалами клубничного пунша и, раскорячив справочник, дважды прогнал его весь, с начала и с конца. Найдя в вихре страниц какую хотел, он объявил, что ехать мне надо этой же ночью курьерским в три с минутами, в ознаменованье чего предложил выпить вместе с ним за мою поездку.

Я недолго колебался. В самом деле, думал я, следя за ходом его рассуждений. Отписка из университета получена. Зачетные отметки в порядке. Сейчас половина

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
одиннадцатого. Разбудить хозяйку – грех небольшой. Времени на укладку за глаза.
Решено – еду.

Он пришел в такой восторг, точно ему самому на другой день предстоял Базель.
«Послушайте, – сказал он, облизнувшись и собрав пустые бокалы. – Вглядитесь друг в друга попристальней, такой у нас обычай. Это может пригодиться, ничего нельзя знать наперед». Я рассмеялся в ответ и уверил, что это излишне, потому что давно уже сделано и что я никогда его не забуду.

Мы простились, я вышел вслед за Г-вым, и смутный звон никелированных приборов смолк за нами, как мне тогда казалось, – навсегда.

Спустя несколько часов, изговорившись в лоск и до одури нашагавшись по городку, быстро истощившему небольшой запас своих улиц, мы с Г-вым спустились в прилежавшее к вокзалу предместье. Нас окружал туман. Мы неподвижно стояли в нем, как скот на водопое, и упорно курили с тем молчаливым тупоумием, от которого то и дело тухнут папиросы.

Мало-помалу стал брезжить день. Огороды гусиной кожей стянула роса. Из мглы вырвались грядки атласной рассады. Вдруг на этой стадии светанья город вырисовался весь разом на присущей ему высоте. Там спали. Там были церкви, замок и университет. Но они еще сливались с серым небом, как клок паутины на сырой швабре. Мне даже показалось, что, едва выступив, город стал расплываться, как след дыханья, прерванного на полушаге от окна. «Ну, пора», – сказал Г-в.

Светало. Мы быстро расхаживали по каменному перрону. В лицо нам, как камни, летели из тумана куски близившегося грохота. Подлетел поезд, я обнялся с товарищем и, вскинув кверху чемодан, вскочил на площадку. Криком раскатились кремни бетона, щелкнула дверца, я прижался к окну. Поезд по дуге срезал все пережитое, и раньше, чем я ждал, пронеслись, налетая друг на друга, – Лан, переезд, шоссе и мой недавний дом. Я рвал книзу оконную раму. Она не подавалась. Вдруг она со стуком опустилась сама. Я высунулся что было мочи наружу. Вагон шатало на стремительном повороте, ничего не было видно. Прощай, философия, прощай, молодость, прощай, Германия!

11

Прошло шесть лет. Когда все забылось. Когда протянулась и кончилась война и разразилась революция. Когда пространство, прежде бывшее родиной материи, заболело гангреной тыловых фикций и пошло линючими дырами отвлеченного несуществования. Когда нас развезло жидкою тундрой и душу обложил затяжной, дребезжащий государственный дождик. Когда вода стала есть кость и времени не стало чем мерить. Когда после уже вкушенной самостоятельности пришлось от нее отказаться и по властному внушенью вещей впасть в новое детство, задолго до старости. Когда я впал в него, по просьбе своих поселясь первым вольным уплотнителем у них в доме, в низкие полуторазэтажные сумерки приполз по снегу из тьмы и раздался в квартире вневременный звонок по телефону. «Кто у телефона?» – спросил я. «Г-в», – последовал ответ. Я даже не удивился, так это было удивительно. «Где вы?» – вневременно выдавил я из себя. Он ответил. Новая нелепость. Место оказалось у нас под боком, перейдя двор. Он звонил из бывшей гостиницы, запятой общежитьем Наркомпроса. Через минуту я сидел у него. Жена его ничуть не изменилась. Детей я раньше не знал.

Но вот что было неожиданно. Оказалось, что он все эти годы прожил на земле, как все, и – хотя за границей, но все под той же пасмурной войной за освобождение малых народностей. Я узнал, что он недавно из Лондона. И не то в партии, не то ярый ее сочувственник. Служит. С переездом правительства в Москву автоматически переведен при подлежащей части наркомпросовского аппарата. Оттого и сосед. Вот и все.

А я бежал к нему как к марбурджу. Не для того, конечно, чтобы с его помощью начать жизнь сызнова, с того туманного далекого рассвета, когда мы стояли во мгле, точно скот на коровьем броде, – и на этот раз поосторожнее, без войны, по возможности. О, конечно, не для того. Но, зная наперед, что подобная реприза немислима, я бежал удостовериться, чем она немислима в моей жизни. Я бежал взглянуть на цвет моей безвыходности, на несправедливо частный ее оттенок, потому что безвыходность общая, и по справедливости принятая наравне со всеми, бесцветна и в выходы не годится.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Так вот, на такую живую безвыходность, сознание которой было бы мне выходом, и бежал взглянуть я. Но глядеть было не на что. Этот человек не мог помочь мне. Он был поврежден сыростью еще больше, чем я.

Впоследствии мне посчастливилось еще раз навеститься в Марбург. Я провел в нем два дня в феврале 23-го года. Я ездил туда с женой, но не догадался его ей приблизить. Этим я провинился перед обоими. Однако и мне было трудно. Я видел Германию до войны и вот увидел после нее. То, что произошло на свете, явилось мне в самом страшном ракурсе. Это был период Рурской оккупации{62}. Германия голодала и холодала, ничем не обманываясь, никого не обманывая, с протянутой временам, как за подающим, рукой (жест для нее несвойственный) и вся поголовно на костылях. К моему удивлению, хозяйку я застал в живых. При виде меня она и дочь всплеснули руками. Обе сидели на тех же местах, что и одиннадцать лет назад, и шили, когда я явился. Комната сдавалась внаймы. Мне ее открыли. Я бы ее не узнал, если бы не дорога из Окерсгаузена в Марбург. Она, как прежде, виднелась в окне. И была зима. Неопрятность пустой, захоложденной комнаты, голые ветлы на горизонте – все это было необычно. Ландшафт, когда-то слишком думавший о Тридцатилетней войне, кончил тем, что сам ее себе напророчил. Уезжая, я зашел в кондитерскую и послал обеим женщинам большой ореховый торт.

А теперь о Когене. Когена нельзя было видеть. Коген умер.

12

Итак – станции, станции, станции. Станции, каменными мотыльками пролетающие в хвост поезда.

В Базеле была воскресная тишина, так что слышно было, как ласточки, снуя, оцарапывали крыльями карнизы. Пылающие стены глазами яблоками закатывались под навесы черно-вишневых черепичных крыш. Весь город шурил и топырил их как ресницы. И тем же гончарным пожаром, каким горел дикий виноград на особняках, горело горшечное золото примитивов в чистом и прохладном музее.

«Zwei francs vierzig centimes»[18], – изумительно чисто произносит в лавке крестьянка в костюме кантона, но место слиянья обоих речевых бассейнов еще не тут, а направо, за низко нависшую крышу, на юг от нее, по жаркой, вольно раздавшейся федеральной лазури, и все время в гору. Где-то под St-Gothard'ом, и – глубокой ночью, говорят.

И такое-то место я проспал, утомленный ночными бденьями двухсуточной дороги! Единственную ночь жизни, когда не подобало спать, – почти как какое-то «Симон, ты спишь?» – да простится мне. И все же мгновеньями пробуждался, стойком у окна, на позорно короткие минуты, «ибо глаза у них отяжелели». И тогда...

Кругом галдел мирской сход недвижно столпившихся вершин. Ага, значит, пока я дремал и, давая свисток за свистком, мы винтом в холодном дыму ввинчивались из туннеля в туннель, нас успело обступить дыханье, на три тысячи метров превосходящее наше природное?

Была непрогляднейшая тьма, но эхо наполняло ее выпуклою скульптурой звуков. Беззастенчиво громко разговаривали пропасти, по-кумовски перемывая косточки земле. Всюду, всюду, всюду судачили, сплетничали и сочались ручьи. Легко было угадать, как развешаны они по крутизнам и спущены сучеными нитками вниз, в долину. А сверху на поезд соскакивали висячие отвесы, рассаживаясь на крышах вагонов, и, перекикиваясь и болтая ногами, предавались бесплатному катанью.

Но сон одолевал меня, и я впадал в недопустимую дремоту у порога снегов, под слепыми Эдиповыми белками Альпов, на вершине демонического совершенства планеты. На высоте поцелуя, который она, как Микеланджелова ночь{63}, самовлюбленно кладет здесь на свое собственное плечо.

Когда я проснулся, чистое альпийское утро смотрело в окна. Какое-то препятствие, вроде обвала, остановило поезд. Нам предложили перейти в другой. Мы пошли по рельсам горной дороги. Лента полотна вилась разобщенными панорамами, точно дорогу все время совали за угол, как краденое. Мои вещи нес босой мальчик-итальянец, совершенно такой, каких изображают на шоколадных обертках. Где-то неподалеку музичировало его стадо. Звяканье колокольчиков падало ленивыми встрясками и отмашками. Музыка сосали слепни. Вероятно, на ней дёргом ходила

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
кожа. Благоухали ромашки, и ни на минуту не прекращалось переливание из пустого в порожнее незримо шлепавшихся отовсюду вод.

Следствия недосыпания не замедлили сказаться. Я был в Милане полдня и не запомнил его. Только собор, все время менявшийся в лице, пока я шел к нему городом, в зависимости от перекрестков, с которых он последовательно открывался, смутно запечатлелся мне. Он тающим глетчером неоднократно вырастал на синем отвесе августовской жары и словно питал льдом и водой многочисленные кофейни Милана. Когда наконец неширокая площадь поставила меня к его подошве и я задрал голову, он съехал в меня всем хором и шорохом своих пилястр и башенок, как снежная пробка по коленчатому голенищу водосточной трубы.

Однако я едва держался на ногах, и первое, что обещал себе по прибытии в Венецию, так это основательно отоспаться.

13

Когда я вышел из вокзального зданья с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. Что-то злокачественно темное, как помой, и тронутое двумя-тремя блестящими звездами. Оно почти неразличимо опускалось и подымалось и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображение Венеции и есть Венеция. Что я – в ней, что это не снится мне.

Привокзальный капал слепой кишкой уходил за угол, к дальнейшим чудесам этой плавучей галереи на клоаке. Я поспешил к стоянке дешевых пароходиков, заменяющих тут трамвай.

Катер потел и задыхался, утирал нос и захлебывался, и тою же невозмутимой гладью, по которой тащились его затонувшие усы, плыли по полукругу, постепенно от нас отставая, дворцы Большого канала. Их зовут дворцами и могли бы звать чертогами, но все равно никакие слова не могут дать понятия о коврах из цветного мрамора, отвесно спущенных в ночную лагуну, как на арену средневекового турнира.

Есть особый елочный восток, восток прерафаэлитов{64}. Есть представление о звездной ночи по легенде о поклонении волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха. Есть слова: халва и Халдея, маги и магний, Индия и индиго. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений.

Как бы для того, чтобы тем прочней утвердить в русском ухе его ореховую гамму, на катере, пристающем то к одному берегу, то к другому, выкрикивают к сведенью едущих: «Fondaco dei Turchi! Fondaco dei Tedeschi!»[19]. Но, разумеется, названья кварталов ничего общего с фундуками не имеют, а заключают воспоминанья о караван-сараях, когда-то основанных тут турецкими и немецкими купцами.

Я не помню, перед каким именно из этих бесчисленных Вендраминов, Гримани, Корнеров, Фоскари и Лореданов{65} увидел я первую, или первую поразившую меня, гондолу. Но это было уже по ту сторону Риальто{66}. Она бесшумно вышла на канал из бокового проулка и, легши наперерез, стала чалить к ближайшему дворцовому порталу. Ее как бы подали со двора на парадное на круглой брюшине медленно выкатившейся волны. За ней осталась темная расселина, полная дохлах крыс и пляшущих арбузных корок. Перед ней разбежалось лунное безлюдье широкой водной мостовой. Она была по-женски огромна, как огромно все, что совершенно по форме и несоизмеримо с местом, занимаемым телом в пространстве. Ее светлая гребенчатая алебарда легко летела по небу, высоко несомая круглым затылком волны. С той же легкостью бежал по звездам черный силуэт гондольера. А клубочок кабины пропадал, как бы вдавленный в воду в седловине между кормой и носом.

Уже и раньше, по рассказам Г-ва о Венеции, я рассудил, что всего лучше будет поселиться в районе близ Академии. Тут я и высиделся. Не помню, перешел ли я по мосту на левый берег или остался на правом. Помню крошечную площадь. Ее обступали такие же дворцы, что и на канале, только серее и строже. И они упирались в сушу.

На залитой луной площади стояли, прохаживались и полулежали люди. Их было немного, и они точно ее драпировали движущимися, малоподвижными и неподвижными телами. Был необыкновенно тихий вечер. Мне бросилась в глаза одна пара. Не поворачивая друг ко другу голов и наслаждаясь обоюдным отталчиваньем, они

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru напряженно всматривались в противоположную даль. Вероятно, это была отдыхавшая прислуга палатки. Сперва меня привлекла спокойная осанка лакея, его стриженная проседа, серый цвет его куртки. В них было что-то неитальянское. От них веяло севером. Затем я увидел его лицо. Оно показалось мне когда-то уже виденным, и только я не мог вспомнить, где это было.

Подойдя к нему с чемоданом, я выложил ему свою заботу о пристанище на несуществующем наречьи, сложившемся у меня после былых попыток почитать Данте в оригинале. Он вежливо меня выслушал, задумался и о чем-то спросил стоявшую рядом горничную. Та отрицательно покачала головой. Он вынул часы с крышкой, поглядел время, защелкнул, сунул в жилет и, не выходя из задумчивости, наклоном головы пригласил следовать за собою. Мы загнули из-за залитого луною фасада за угол, где был полный мрак.

Мы шли по каменным переулочкам не шире квартирных коридоров. От времени до времени они подымали нас на короткие мосты из горбатого камня. Тогда по обе руки вытягивались грязные рукава лагуны, где вода стояла в такой тесноте, что казалась персидским ковром в трубочатом свертке, едва втиснутым на дно кривого ящика.

По горбатым мостам проходили встречные, и задолго до ее появления о приближении венецианки предупреждал частый стук ее туфель по каменным лещадкам квартала.

В высоте поперек черных, как деготь, щелей, по которым мы блуждали, светлело ночное небо, и все куда-то уходило. Точно по всему Млечному Пути тянул пух семеневшегося одуванчика, и будто ради того лишь, чтобы пропустить колонну-другую этого движущегося света, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки. И, удивляясь странной знакомости своего спутника, я беседовал с ним на несуществующем наречьи и переваливался из дегтя в пух, из пуха в деготь, ища с его помощью найдешевейшего ночлега.

Но на набережных, у выходов к широкой воде, царили другие краски, и тишину сменяла сутолока. На прибывавших и отходивших катерах толпилась публика, и маслянисто-черная вода вспыхивала снежной пылью, как битый мрамор, разламываясь в ступках жарко работавших или круто застопоривавших машин. А по соседству с ее клокотаньем ярко жужжали горелки в палатках фруктошников, работали языки и толклись и прыгали фрукты в бестолковых столбах каких-то недоварившихся компотов.

В одной из ресторанных судомоев у берега нам дали полезную справку. Указанный адрес возвращал к началу нашего странствия. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке. Так что когда провожатый водворил меня в одной из гостиниц близ Санро Моросіні, у меня сложилось такое чувство, будто я только что пересек расстояние, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движенью. Если бы у меня тогда спросили, что такое Венеция, – «Светлые ночи, – сказал бы я, – крошечные площади и спокойные люди, кажущиеся странно знакомыми».

14

«Ну-с, дружище, – громко, как глухому, прорычал мне хозяин, крепкий старик лет шестидесяти в расстегнутой грязной рубахе, – я вас устрою, как родного». Он налился кровью, смерил меня взглядом исподлобья и, заложив руки за пряжки подтяжек, забарабанил пальцами по волосатой груди. «Хотите холодной телятины?» – не смягчая взгляда, рявкнул он, не сделав никакого вывода из моего ответа.

Вероятно, это был добряк, корчивший из себя страшилище, с усами à la Radetzki [20]{67}. Он помнил австрийское владычество и, как вскоре обнаружилось, немного говорил по-немецки. Но так как язык этот представлялся ему языком унтеров-далматинцев по преимуществу, то мое беглое произношение навело его на грустные мысли о паденьи немецкого языка со времени его солдатчины. Кроме того, у него, вероятно, была изжога.

Поднявшись, как на стремянах, из-за стойки, он кровожадно куда-то что-то проорал и пружинисто спустился во дворик, где протекало наше ознакомленье. Там стояло несколько столиков под грязными скатертями. «Я сразу почувствовал к вам расположение, как только вы вошли», – злорадно процедил он, движеньем руки пригласив меня присесть, и опустился на стул стола через два или три от меня. Мне принесли пива и мяса.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Дворик служил обеденным залом. Стояльцы, если тут какие имелись, давно, верно, отужинали и разбрелись на покой, и только в самом углу обжорной арены отсиживался плюгавый старичок, во всем угодливо поддакивавший хозяину, когда тот к нему обращался.

Уплетая телятину, я уже раз или два обратил внимание на странные исчезновения и возвращения на тарелку ее влажно-розовых ломтей. Видимо, я впадал в дремоту. У меня слипались веки.

Вдруг, как в сказке, у стола выросла милая сухонькая старушка, и хозяин кратко поставил ее в известность о своей свирепой приязни ко мне, вслед за чем, куда-то поднявшись вместе с нею по узкой лестнице, я остался один, нащупал постель и без дальних размышлений лег в нее, раздевшись в потемках.

Я проснулся ярким солнечным утром, после десяти часов стремительного, непрерывного сна. Небылица подтверждалась. Я находился в Венеции. Зайчики, светлой мелюзгой роившиеся на потолке, как в каюте речного парохода, говорили об этом и о том, что я сейчас встану и побегу ее осматривать.

Я оглядел помещение, в котором лежал. На гвоздях, вбитых в крашеную перегородку, висели юбки и кофты, перьяная метелка на колечке, колотушка, плетеньем зацепленная за гвоздь. Подоконник был загроможден мазями в жестянках. В коробке из-под конфет лежал неочищенный мел.

За занавеской, протянутой во всю ширину чердака, слышался стук и шелест сапожной щетки. Он слышался уже давно. Это, верно, чистили обувь на всю гостиницу. К шуму примешивались женское шушуканье и детский шепот. В шушукавшей женщине я узнал свою вчерашнюю старушку.

Она приходилась дальней родней хозяину и работала у него в экономках. Он уступил мне ее конуру, однако когда я пожелал это как-нибудь исправить, она сама встревоженно упростила меня не вмешиваться в их семейные дела.

Перед одеваньем, потягиваясь, я еще раз оглядел все кругом, и вдруг мгновенный дар ясности осветил мне обстоятельства минувшего дня. Мой вчерашний провожатый напоминал обер-кельнера в Марбурге, того самого, что надеялся мне еще пригодиться.

Вероятный налет вмененья, заключавшийся в его просьбе, мог еще увеличить это сходство. Это-то и было причиной инстинктивного предпочтенья, которое я оказал одному из людей на площади перед всеми остальными.

Меня это открытье не удивило. Тут нет ничего чудесного. Наши невиннейшие «здравствуйте» и «прощайте» не имели бы никакого смысла, если бы время не было пронизано единством жизненных событий, то есть перекрестными действиями бытового гипноза.

15

Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за дном ходить на свиданья с куском застроенного пространства, как с живою личностью.

С какой стороны ни идти на пьядцу{68}, на всех подступах к ней стережет мгновенье, когда дыханье учащается и, ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли мерчерии или телеграфа дорога в какой-то момент становится подобьем преддверья, и, раскинув свою собственную, широко расчерченную поднебесную, площадь выводит, как на прием: кампанилу, собор, дворец дождей и трехстороннюю галерею.

Постепенно привязываясь к ним, склоняешься к ощущенью, что Венеция – город, обитаемый зданьями – четырьмя перечисленными и еще несколькими в их роде. В этом утверждении нет фигуральности. Слово, сказанное в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой риторике не дотянуться. Кроме того, оно, как ракушками, обросло вековыми восторгами путешественников. Растущее восхищение вытеснило из Венеции последний след декламации. Пустых мест в пустых дворцах не осталось. Все занято красотой.

Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru задерживаются на пьедестале в позах, которые были бы естественны при прощании с живым лицом, площадь ревнуешь к ним тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как английская.

16

Однажды под этими же штандартными мачтами, переплетаясь поколениями, как золотыми нитками, толпилось три великолепно вотканных друг в друга столетия, а невдалеке от площади недвижимой корабельной чашей дремал флот этих веков. Он как бы продолжал планировку города. Снасти высовывались из-за чердаков, галеры подглядывали, на суше и на кораблях двигались по-одинаковому. Лунной ночью иной трехпалубник, уставясь ребром в улицу, всю ее сковывал мертвой грозой своего недвижно развернутого напора. И в том же выносном величьи стояли фрегаты на якорях, облюбовывая с рейда наиболее тихие и глубокие залы. По тем временам это был флот очень сильный. Он поражал своей численностью. Уже в пятнадцатом веке в нем одних торговых судов, не считая военных, насчитывалось до трех с половиной тысяч, при семидесяти тысячах матросов и судорабочих.

Этот флот был невымышленной явью Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности. В виде парадокса можно сказать, что его покачивавшийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное подземелье. В силках снастей скучал плененный воздух. Флот томил и угнетал. Но, как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давлению поднималось нечто ответно-искупительное. Понять это – значит понять, как обманывает искусство своего заказчика.

Любопытно происхождение слова «панталоны». Когда-то, до своего позднейшего значенья штанов, оно означало лицо итальянской комедии. Но еще раньше, в первоначальном значении, «*pianta leone*» выражало идею венецианской победоносности и значило: водрузительница льва (на знамени), то есть, иными словами, – Венеция-завоевательница. Об этом есть даже у Байрона в «Чайльд-Гарольде»:

Her very byword sprung from victory,
The «Planter of the Lion», wick through fire
And blood she bore o'er subject earth and sea.[21]

Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона. Пойдем ли мы когда-нибудь, каким образом гильотина могла стать на время формой дамской брошки?

Эмблема льва многообразно фигурировала в Венеции. Так, и опускная щель для тайных доносов на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронеза и Тинторетто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта «*Bossa di leone*»[22] современникам, и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасную изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения.

Когда искусство воздвигало дворцы для поработителей, ему верили. Думали, что оно делит общие воззрения и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения, а вовсе не тот панталонный язык, который им ошибочно приписывали. Панталонные цели истлели, дворцы остались.

И осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства по репродукциям и в вывозном музейном разливе. Но надо было попасть на их месторождение, чтобы, в отличие от отдельных картин, увидеть самое живопись, как золотую топь, как один из первичных омутов творчества.

17

Я глядел на это зрелище глубже и более расплывчато, нежели это выразят теперь мои формулировки. Я не старался осознать увиденное в том направлении, в каком его сейчас истолкую. Но впечатления сами отложились у меня сходным образом в течение лет, и в своем сжатом заключении я не удалюсь от правды.

Я увидел, какое наблюдение первым поражает живописный инстинкт. Как вдруг постигается, каково становится видимому, когда его начинают видеть. Будучи запримечена, природа расступается послушным простором повести, и в этом состоянии ее, как сонную, тихо вносят на полотно. Надо видеть Карпаччио и

детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Беллини{69}, чтобы понять, что такое изображение.

Я узнал далее, какой синкретизм сопутствует расцвету мастерства, когда при достигнутом тождестве художника и живописной стихии становится невозможным сказать, кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне – исполнитель, исполненное или предмет исполнения. Именно благодаря этой путанице мыслимы недоразумения, при которых время, позируя художнику, может вообразить, будто подымает его до своего преходящего величия. Надо видеть Веронеза и Тициана{70}, чтобы понять, что такое искусство.

Наконец, недостаточно оценив эти впечатления в то время, я узнал, как мало нужно гению для того, чтоб взорваться.

Кругом – львиные морды, всюду мерещащиеся, сующиеся во все интимности, все обнюхивающие, – львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за жизнью жизнь. Кругом львиный рык мнимого бессмертья, мыслимого без смеху только потому, что все бессмертное у него в руках и взято на крепкий львиный повод. Все это чувствуют, все это терпят. Для того, чтобы ощутить только это, не требуется гениальности: это видят и терпят все. Но раз это терпят сообща, значит, в этом зверинце должно быть и нечто такое, чего не чувствует и не видит никто.

Это и есть та капля, которая переполняет чашу терпенья гения. Кто поверит? Тождество изображенного, изобразителя и предмета изображения, или шире: равнодушие к непосредственной истине, вот что приводит его в ярость. Точно это пощечина, данная в его лице человечеству. И в его холсты входит буря, очищающая хаос мастерства определяющими ударами страсти. Надо видеть Микеланджело Венеции – Тинторетто{71}, чтобы понять, что такое гений, то есть художник.

18

Однако в те дни я не входил в эти тонкости. Тогда в Венеции, и еще сильнее во Флоренции, или, чтобы быть окончательно точным, в ближайшие после путешествия зимы в Москве, мне приходили в голову другие, более специальные мысли.

Главное, что выносит всякий от встречи с итальянским искусством, – это ощущение осязательного единства нашей культуры, в чем бы он его ни видел и как бы ни называл.

Как много, например, говорилось о язычестве гуманистов и как по-разному, – как о течении законном и незаконном. И правда, столкновение веры в воскресенье с веком Возрождения – явление необычайное и для всей европейской образованности центральное. Кто также не замечал анахронизма, часто безнравственного, в трактовках канонических тем всех этих «Введений», «Вознесений», «Бракосочетаний в Кане» и «Тайных вечерь» с их разнузданно великосветской роскошью?

И вот именно в этом несоответствии сказала мне тысячелетняя особенность нашей культуры.

Италия кристаллизовала для меня то, чем мы бессознательно дышим с колыбели. Ее живопись сама доделала для меня то, что я должен был по ее поводу додумать, и пока я днями переходил из собрания в собрание, она выбросила к моим ногам готовое, до конца выварившееся в краске наблюдение.

Я понял, что, к примеру, Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное. Что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века. Я понял, что история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз новым – актуальный момент текущей культуры.

Вот чем я тогда интересовался, вот что тогда понимал и любил.

Я любил живую суть исторической символики, иначе говоря, тот инстинкт, с помощью которого мы, как ласточки саланганы, построили мир, – огромное гнездо, слепленное из земли и неба, жизни и смерти и двух времен, наличного и отсутствующего. Я понимал, что ему мешает развалиться сила сцепления, заключающаяся в сквозной образности всех его частиц.

Но я был молод и не знал, что это не охватывает судьбы гения и его природы. Я не знал, что его существо покоится в опыте реальной биографии, а не в символике, образно преломленной. Я не знал, что, в отличие от примитивов, его корни лежат в грубой непосредственности нравственного чутья. Замечательна одна его особенность. Хотя все вспышки нравственного аффекта разыгрываются внутри культуры, бунтовщику всегда кажется, что его бунт прокатывается на улице, за ее оградой. Я не знал, что долговечнейшие образы оставляет иконоборец в тех редких случаях, когда он рождается не с пустыми руками.

Когда папа Юлий Второй выразил неудовольствие по поводу колористической бедности сикстинского плафона{72}, то в применении к потолку, изображающему создание мира с полагающимися фигурами, Микеланджело, оправдываясь, заметил: «В те времена в золото не рядились. Особы, здесь изображенные, были людьми небогатыми».

Вот громоподобный и младенческий язык этого типа.

Предела культуры достигает человек, таящий в себе укрощенного Савонаролу{73}. Неукрощенный Савонарола разрушает ее.

19

Вечером накануне отъезда на пьядце был концерт с иллюминацией, какие часто там устраивались. Ограничивающие ее фасады сверху донизу оделись остриями лампочек. Ее с трех сторон озарил черно-белый транспарант. Лица слушавших под открытым небом вспарило банной яркостью, как в закрытом великолепно освещенном помещении. Вдруг с потолка воображаемого бального зала стало слегка капать. Но, едва начавшись, дождик внезапно перестал. Иллюминационный отсвет кипел над площадью цветною мглой. Колокольня св. Марка ракетой из красного мрамора врезалась в розовый туман, до половины заволакивавший ее верхушку. Несколько подальше клубились темно-оливковые пары, и в них сказочно прятался пятиголовый остов собора. Тот конец площади казался подводным царством. На соборном притворе золотом играла четверка коней, вскачь примчавшихся из древней Греции и тут остановившихся, как на краю обрыва.

Когда концерт кончился, стал слышен жернов равномерного шарканья, вращавшийся и раньше по галерейному кругу, но тогда заглушавшийся музыкой. Это было кольцо фланеров, шаги которых шумели и сливались подобно шороху коньков в ледяной чашке катка.

Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем сеявшие оболъщение. Они оборачивались на ходу точно с тем, чтобы оттолкнуть и уничтожить. Вызывающе изгибая стан, они быстро скрывались под портиками. Когда они оглядывались, на вас уставлялось смертельно насурмленное лицо черного венецианского платка. Их быстрая походка в темпе *allegro irato*[23] странно соответствовала черному дрожанию иллюминации в белых царапинах алмазных огоньков.

В стихах я дважды пробовал выразить ощущение, навсегда связавшееся у меня с Венецией. Ночью перед отъездом я проснулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент пробуждения. Я поспешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба так внимательно, точно там мог быть след мгновенно смолкшего звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, не возшло ли над Венецией какое-нибудь новое созвездье, со смутно готовым представлением о нем как о Созвездьи Гитары.

Часть третья

1

Цепь бульваров прорезала зимами Москву за двойным пологом почернелых деревьев. В домах желтели огни, как звездчатые кружки перерезанных посередке лимонов. На деревья низко свешивалось небо, и все белое кругом было сине.

По бульварам, нагибаясь, как для боданья, пробегали бедно одетые молодые люди. С некоторыми я был знаком, большинства не знал, все же вместе были моими ровесниками, то есть неисчислимыми лицами моего детства.

Их только что стали звать по отчеству, наделили правами и ввели в секрет слов: овладеть, извлечь пользу, присвоить. Они обнаруживали поспешность, достойную

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
более внимательного разбора.

На свете есть смерть и предвиденье. Нам мила неизвестность: наперед известное страшно, и всякая страсть есть слепой отскок в сторону от накатывающей неотвратимости. Живым видам негде было бы существовать и повторяться, если бы страсти некуда было прыгать с той общей дороги, по которой катится общее время, каковое есть время постепенного разрушенья вселенной.

Но жизни есть где жить и страсти есть куда прыгать, потому что наряду с общим временем существует непрекращающаяся бесконечность придорожных порядков, бессмертных в воспроизведении, и одним из них является всякое новое поколение.

Нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу молодые люди, и хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений подхлестывало их нечто общее, и это была их историческая цельность, то есть отдача той страсти, с какой только что вбежало в них, спасаясь с общей дороги, в несчетный раз избежавшее конца человечество.

А чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами. За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте. Оно стояло за деревьями, страшно похожее на жизнь, и терпелось в ней за это сходство, как терпят портреты жен и матерей в лабораториях ученых, посвященных естественной науке, то есть постепенной разгадке смерти.

Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, – передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячее и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти невысказуемо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведении образца. Таково было искусство. Каково же было поколение?

Мальчикам близкого мне возраста было по тринадцати лет в девятьсот пятом году и шел двадцать второй год перед войною. Обе их критические поры совпали с двумя красными числами родной истории. Их детская возмужалость и их призывное совершеннолетие сразу пошли на скрепы переходной эпохи. Наше время по всей толще прошито их нервами и любезно предоставлено ими в пользование старикам и детям.

Однако для полноты их характеристики надо вспомнить государственный порядок, которым они дышали.

Никто не знал, что это правит Карл Стюарт^{74} или Людовик XVI^{75}. Почему монархами по преимуществу кажутся последние монархи? Есть, очевидно, что-то трагическое в самом существе наследственной власти.

Политический самодержец занимается политикой лишь в тех редких случаях, когда он Петр. Такие примеры исключительны и запоминаются на тысячелетья. Чаще природа ограничивает властителя тем полнее, что она не парламент и ее ограниченья абсолютны. В виде правила, освященного веками, наследственным монархом зовется лицо, обязанное церемониально изживать одну из глав династической биографии – и только. Здесь имеется пережиток жертвенности, подчеркнутой в этой роли оголеннее, чем в пчелином улье.

Что же делается с людьми этого страшного призванья, если они не Цезари, если опыт не перекипает у них политикой, если у них нет гениальности – единственного, что освобождает от судьбы пожизненной в пользу посмертной?

Тогда не скользят, а поскользываются, не ныряют, а тонут, не живут, а вживаются в щекотливости, низводящие жизнь до орнаментального прозябанья. Сначала в часовые, потом в минутные, сначала в истинные, потом в вымышленные, сначала без посторонней помощи, потом с помощью столоверченья.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

При виде котла пугаются его клокотанья. Министры уверяют, что это в порядке вещей и чем совершеннее котлы, тем страшнее. Излагается техника государственных преобразований, заключающаяся в переводе тепловой энергии в двигательную и гласящая, что государства только тогда и процветают, когда грозят взрывом и не взрываются. Тогда, зажмурясь от страха, берутся за ручку свистка и со всей прирожденной мягкостью устраивают Ходынку, кишиневский погром и девятое января и сконфуженно отходят в сторону, к семье и временно прерванному дневнику.

Министры хватаются за голову. Окончательно выясняется, что территориальными далями правят недалекие люди. Объяснения пропадают даром, советы не достигают цели. Широта отвлеченной истины ни разу не пережита ими. Это рабы ближайших очевидностей, заключающие от подобного к подобному. Переучивать их поздно, развязка приближается. Подчиняясь увольнительному рескрипту, их оставляют на ее произвол.

Они видят ее приближение. От ее угроз и требований бросаются к тому, что есть самого тревожного и требовательного в доме. Генриэтты, Марии-Антуанетты{76} и Александры{77} получают все больший голос в страшном хоре. Отдаляют от себя передовую аристократию, точно площадь интересуется жизнью дворца и требует ухудшения его комфорта. Обращаются к версальским садовникам, к ефрейторам Царского села и самоучкам из народа, и тогда всплывают и быстро поднимаются Распутины{78}, никогда не опознаваемые капитуляции монархии перед фольклорно понятным народом, ее уступки веяньям времени, чудовищно противоположные всему тому, что требуется от истинных уступок, потому что это уступки только во вред себе, без малейшей пользы для другого, и обыкновенно как раз эта несуразность, оголяя обреченную природу страшного призванья, решает его судьбу и сама чертами своей слабости подает раздражающий знак к восстанию.

Когда я возвращался из-за границы, было столетие Отечественной войны. Дорогу из Брестской переименовали в Александровскую. Станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. Станционное здание в Кубинке было утыкано флагами, у дверей стоял усиленный караул. Поблизости происходил высочайший смотр, и по этому случаю платформа горела ярким развалом рыхлого и не везде еще притоптанного песку.

Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствования – равнодушьем к родной истории. И если торжества на чем и отражались, то не на ходе мыслей, а на ходе поезда, потому что его дольше положенного задерживали на станциях и чаще обычного останавливали в поле семафором.

Я невольно вспоминал скончавшегося зимой перед тем Серова{79}, его рассказы поры писанья царской семьи, карикатуры, делавшиеся художниками на рисовальных вечерах у Юсуповых, курьезы, сопровождавшие кутеповское издание «Царской охоты», и множество подходящих к случаю мелочей, связанных с Училищем живописи, которое состояло в ведении министерства императорского двора и в котором мы прожили около двадцати лет. Я также мог бы вспомнить девятьсот пятый год, драму в семье Касаткина{80} и мою грошовую революционность, дальше бравированья перед казацкой нагайкой и удара ею по спинке ватной шинели не пошедшую. Наконец, что касается сторожей, станций и флагов, то и они, разумеется, предвещали серьезнейшую драму, а вовсе не были тем невинным водевилем, который видел в них мой легкомысленный аполитизм.

Поколение было аполитичным, мог бы сказать я, если бы не сознавал, что ничтожной его части, с которой я соприкасался, недостаточно даже для суждения обо всей интеллигенции. Такой стороной было оно повернуто ко мне, скажу я, но тою же стороной обращалось оно и ко времени, выступая со своими первыми заявлениями о своей науке, своей философии и своем искусстве.

2

Однако культура в объятая первого желающего не падает. Все перечисленное надо было взять с бою. Пониманье любви как поединка подходит и к этому случаю. Переход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влечения, пережитого со всем волнением, как личное происшествие. Литература начинающих пестрила признаками этого состоянья. Новички объединялись в группы. Группы разделялись на эпигонские и новаторские. Это были немислимые в отдельности части того порыва, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насыщал все кругом атмосферой совершающегося, а не только еще ожидаемого

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
романа. Эпигоны представляли влечение без огня и дара. Новаторы – ничем, кроме выхоленной ненависти, не движимую воинственность. Это были слова и движенья крупного разговора, подслушанные обезьяной и разнесенные куда придется по частям, в разрозненной дословности, без догадки о смысле, одушевлявшем эту бурю.

Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспокоины, одинаково думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движенье, новаторство отличалось видимым единодушием. Но, как в движеньях всех времен, это было единодушье лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движенья было остаться навеки движеньем, то есть любопытным случаем механического перемещенья шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значенья. Движенье называлось футуризмом.

Победителем и оправданьем тиража был Маяковский.

3

Наше знакомство произошло в принужденной обстановке групповой предвзятости. Задолго перед тем Ю. Анисимов показал мне его стихи в «Садке судей»^{81}, как поэт показывает поэта. Но это было в эпигонском кружке «Лирика», эпигоны своих симпатий не стыдились, и в эпигонском кружке Маяковский был открыт как явление многообещающей близости, как громада.

Зато в новаторской группе «Центрифуга», в состав которой я вскоре попал, я узнал (это было в 1914 году, весной), что Шершеневич, Большаков и Маяковский наши враги и с ними предстоит нешуточное объяснение. Перспектива ссоры с человеком, уже однажды поразившим меня и привлекавшим издали все более и более, несколько меня не удивила. В этом и состояла вся оригинальность новаторства. Нарождение «Центрифуги» сопровождалось всю зиму нескончаемыми скандалами. Всю зиму я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью. Я приготовился снова предать что угодно, когда придется. Но на этот раз я переоценил свои силы.

Был жаркий день конца мая, и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумно и молодо вошли трое названных, сдали шляпы швейцару и, не умеряя звучности разговора, только что заглушавшегося трамваями и ломовиками, с непринужденным достоинством направились к нам. У них были красивые голоса. Позднейшая декламационная линия поэзии пошла отсюда. Они были одеты элегантно, мы – неряшливо. Позиция противника была во всех отношениях превосходной.

Пока Бобров препирался с Шершеневичем, – а суть дела заключалась в том, что они нас однажды заделали^{82}, мы ответили еще грубее, и всему этому надо было положить конец, – я не отрываясь наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые.

Его «э» оборотное вместо «а», куском листового железа колыхавшее его дикцию, было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным признаком других профессий и положений. В своей разительности он был не одинок. Рядом сидели его товарищи. Из них один, как он, разыгрывал денди, другой, подобно ему, был подлинным поэтом. Но все эти сходства не умаляли исключительности Маяковского, а ее подчеркивали. В отличие от игры в отдельное он разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей, – играл жизнью. Последнее, без какой бы то ни было мысли о его будущем конце, – улавливалось с первого взгляда. Это-то и приковывало к нему и пугало.

Хотя всех людей на ходу и когда они стоят видно во весь рост, но то же обстоятельство при появлении Маяковского показалось чудесным, заставив всех повернуться в его сторону. Естественное казалось в его случае сверхъестественным. Причиной был не его рост, а другая, более общая и менее уловимая особенность. Он в большей степени, чем остальные люди, был весь в явлении. Выраженного и окончательного в нем было так же много, как мало этого у большинства, редко когда и лишь в случаях особых потрясений выходящего из мглы невыбродивших намерений и несостоявшихся предположений. Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставали его уже в снопе ее бесповоротных последствий. Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперед, резал и быстро глотал венский

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, величественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполнение и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решеньем была его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписанием, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья.

Но он был еще молод, формы, предстоявшие этой теме, были впереди. Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее, предвосхищенье же, осуществляемое в первом лице, есть поза.

Из этих поз, естественных в мире высшего самовыраженья, как правила приличья в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеки.

А между тем пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, а под его притворной волей крылось феноменально мнительное и склонное к беспричинной угрюмости безволие. Таким же обманчивым был и механизм его желтой кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными. Потому что никто, как он, не знал всей пошлости самородного огня, не разъяряемого исподволь холодной водой, и того, что страсти, достаточной для продолженья рода, для творчества недостаточно, и что оно нуждается в страсти, требующейся для продолженья образа рода, то есть в такой страсти, которая внутренне подобна страстям и новизна которой внутренне подобна новому обетованью.

Вдруг переговоры кончились. Враги, которых мы должны были уничтожить, ушли непопранными. Скорее условия выработанной мировой были унижительны для нас.

Между тем на улице потемнело. Стало накрапывать. В отсутствие врагов кондитерская томительно опустела. Обозначились мухи, недоеденные пирожные, ослепленные горячим молоком стаканы. Но гроза не состоялась. В панель, скрученную мелким лиловым горошком, сладко ударило солнце. Это был май четырнадцатого года. Превратности истории были так близко. Но кто о них думал? Аляповатый город горел финифтью и фольгой, как в «Золотом петушке». Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались. Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем. Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел.

4

Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской. Зевали, потягиваясь и укладывая морды поудобней на передние лапы, худые длинноязыкие собаки. Няни, кума с кумой, все о чем-то судачили и о чем-то сокрушались. Бабочки мгновеньями складывались, растворясь в жаре, и вдруг расправлялись, увлекаемые вбок неправильными волнами зноя. Девочка в белом, вероятно совершенно мокрая, держалась в воздухе, всю себя за пятки охлестывая свистящими кругами веревочной скакалки.

Я увидел Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направлению к Страстному. Маяковский остался один за столиком. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть.

Зеленели тополя. Суховато серели липы. Выведенные блохами из терпенья, сонные собаки вскакивали на все лапы сразу и, призвав небо в свидетели своего морального бессилья против грубой силы, валились на песок в состоянии негодующей сонливости. Давали горловые свистки паровозы на Брестской дороге, переименованной в Александровскую, и кругом стригли, брили, пекли и жарили,

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
торговали, передвигались – и ничего не ведали.

Это была трагедия «Владимир Маяковский», тогда только что вышедшая. Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затаив дыхание. Ничего подобного я раньше никогда не слышал.

Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом издании.

Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направлении, без которой поэзия – одно недоразумение, временно не разъясненное.

И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержания.

5

Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь. Но он был огромен, удержать его в разлуке не представляло возможности. И я его утрачивал. Тогда он напоминал мне о себе. «Облаком в штанах», «Флейтой-позвоночником», «Войной и миром», «Человеком». То, что выветривалось в промежутках, было так громадно, что и напоминались требовались экстраординарные. Такими они и бывали. Каждый из перечисленных этапов заставлял меня неподготовленным. На каждом, выросши до неузнаваемости, он весь рождался вновь, как в первый раз. К нему нельзя было привыкнуть. Что же в нем было столь непривычного?

Он обладал сравнительно постоянными качествами. Относительно устойчива была и моя восторженность. Она всегда для него была готова. Казалось бы, при таких условиях и привыкание мое не должно было бы делать скачков. Между тем вот как обстояло дело.

Пока он существовал творчески, я четыре года привыкал к нему и не мог привыкнуть. Потом привык в два часа с четвертью, что длилось чтение и разбор нетворческих «15000000-нов». Потом больше десяти лет про томился с этой привычкой. Потом вдруг разом ее в слезах утратил, когда он во весь голос о себе напомнил, как бывало, но уже из-за могилы.

Привыкнуть нельзя было не к нему, а к миру, который он держал в своих руках и то пускал в ход, то приводил в бездействие по своему капризу. Я никогда не пойму, какой ему был прок в размагничивании магнита, когда в сохранении всей внешности ни песчинки не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображение и притягивавшая какие угодно тяжести ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно бы от него отказался. Его место в революции, внешне столь логичное, внутренне столь принужденное и пустое, навсегда останется для меня загадкой.

Привыкнуть нельзя было к Владимиру Маяковскому трагедии, к фамилии содержания, к поэту, извечно содержащемуся в поэзии, к возможности, осуществляемой наиболее сильными, а не к так называемому «интересному человеку».

С зарядом этой непривычности я и пошел домой с бульвара. Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришел бы от сестер С. {83}, семьи глубоко и разнообразно одаренной. Я узнал бы в вошедшем: воображение, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической природы. Я его любил. Он увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. От искусства, как и от жизни, мы добивались разного.

6

Зеленели тополя и ящерицами бегали по речной воде отражения золота и белого

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
камня, когда я Кремлем к Покровке проехал на вокзал и оттуда с Балтрушайтисами на Оку, в Тульскую губернию. Там под боком жил Вячеслав Иванов. Остальные дачники были также из артистического мира.

Еще цвела сирень. Выбежав далеко на дорогу, она только что без музыки и хлеба-соли устраивала живую встречу на широком въезде в имение. За ней долго еще спускался к домам пустой, избитый скотом и поросший неровною травой двор.

Лето обещало быть жарким, богатым. Для тогда возникавшего Камерного театра я переводил комедию Клейста «Разбитый кувшин». В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купанье. Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт. С гиперболизмом Гюго первым на моей памяти стал сравнивать его тогда Вячеслав Иванов.

Когда объявили войну, занемогло, пошли дожди, полились первые бабьи слезы. Война была еще нова и в тряс страшна этой новостью. С ней не знали как быть, и в нее вступали как в студеную воду.

Пассажирские поезда, в которых уезжали местные из волости на сбор, отходили по старому расписанию. Поезд трогался, и ему вдогонку, колотясь головой о рельсы, раскатывалась волна непохожего на плач, неестественно нежного и горького, как рябина, кукованья. Пожилую, не по-летнему укутанную женщину подхватывали на руки. Родня снаряженного с односложными уговорами отводила ее под станционные своды.

Это только в первые месяцы державшееся причитанье было шире горя молодых и матерей, в нем изливавшегося. Оно чрезвычайным порядком вводилось по линии. Начальники станций брали при его следовании под козырек, телеграфные столбы уступали ему дорогу. Оно преображало край, видимое отовсюду в оловянном окладе ненастья, потому, что это была отвычная вещь жгучей яркости, которую не трогали с прошлых войн, извлекли из-под спуда истекшей ночью, утром привезли на лошади к поезду и, как выведут за руки из-под станционных сводов, повезут назад домой горькой грязью проселка. Так провожали своих, вольными одиночками или с земляками уезжавших в город в зеленых вагонах.

Солдат же, готовыми маршевыми частями проходивших прямо туда, в самый страх, встречали и провожали без голошенья. Во всем в обтяжку они не по-мужицки прыгали из высоких теплушек в песок, звеня шпорами и волоча по воздуху криво накинутые шинели. Другие стояли в вагонах у перекладин, похлопывая лошадей, надменными ударами копыт ковырявших грязную древесину местами подгнившего пола. Платформа яблок даром не отдавала, за ответом в карман не лезла и, пунцово вспыхивая, усмехалась в углы плотно сколотых платков.

Кончался сентябрь. Грязью залитого пожара горел в лощинах мусорно-золотой орешник, погнутый и обломанный ветрами и лазальщиками по орехи, сумбурный образ разоренья, свернутого со всех суставов упрямым сопротивленьем беде.

Как-то в августе в полдень ножи и тарелки на террасе позеленели, на цветник пали сумерки, притихли птицы. Небо, как шапку-невидимку, стало сдирать с себя светлую сетчатую ночь, обманно на него наброшенную. Вымерший парк зловеще заносился ввысь, на унижительную загадку, превращавшую во что-то заштатное землю, громкую славу которой он так горделиво пил всеми корнями. На дорожку выкатился еж. На ней египетским иероглифом, как сложенная узлом веревка, валялась дохлая гадюка. Он шевельнул ее и вдруг бросил и замер. И снова сломал и осыпал сухую охапку игл и высунул и спрятал свиную морду. Все время, что длилось затмение, то сапожком, то шишкой сбирался клубок колючей подозрительности, пока предвестье возрождающейся несомненности не погнало его назад в нору.

8

Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер С-х – З. М. М-ва. Ее посещали. К ней заходил замечательный музыкант (я дружил с ним) И. Добровейн. У ней бывал Маяковский. К той поре я уже привык видеть в нем первого поэта поколенья. Время показало, что я не ошибся.

Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и донине для меня недоступна, потому что поэзия моего понимания все же протекает в

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru истории и в сотрудничестве с действительной жизнью. Был также Северянин, лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами и, при всей неряшливой пошлости, поражавший именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара.

Однако вершиной поэтической участи был Маяковский, и позднее это подтвердилось. Всякий раз, как потом поколение выражало себя драматически, отдавая свой голос поэту, будь то Есенин, Сельвинский или Цветаева, именно в их генерационной связанности, то есть в их обращении от времени к миру, слышался отзвук кровной ноты Маяковского. Я умалчиваю о таких мастерах, как Тихонов и Асеев, потому что ограничиваюсь и в дальнейшем этой драматической линией, более близкой мне, а они выбрали для себя другую.

Маяковский редко являлся один. Обыкновенно его свиту составляли футуристы, люди движенья. В хозяйстве М-вой я увидел тогда первый в моей жизни примус. Изобретенье не издавало еще вони, и кому думалось, что оно так изгадит жизнь и найдет себе в ней такое широкое распространенье.

Чистый ревуший кузов разбрасывал высоконапорное пламя. На нем одну за другой поджаривали отбивные котлеты. Локти хозяйки и ее помощниц покрывались шоколадным кавказским загаром. Холодная кухонька превращалась в поселенье на Огненной Земле, когда, наведываясь из столовой к дамам, мы технически дикими патагонцами склонялись над медным блином, воплощавшим в себе что-то светлое, архимедовское. И – бегали за пивом и водкой. В гостиной, в тайной стачке с деревьями бульвара, протягивала лапы к роялю высокая елка. Она была еще торжественно мрачна. Весь диван, как сладями, был завален блестящей канителью, частью еще в картонных коробках. К ее украшенью приглашали особо, с утра повозможности, то есть часа в три пополудни.

Маяковский читал, смешил все общество, торопливо ужинал, не терпя, когда сядут за карты. Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбужденье. С ним что-то творилось, в нем совершался какой-то перелом. Ему уяснилось его назначенье. Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота.

9

Но не всегда он приходил в сопутствии новаторов. Часто его сопровождал поэт, с честью выходящий из испытанья, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха. Как впоследствии его еще более крепкое единенье с другом на всю жизнь, Л. Ю. Брик, эту дружбу легко было понять, она была естественна. В обществе Большакова за Маяковского не болело сердце, он был в соответствии с собой и не ронял себя.

Обычно же его симпатии вызывали недоуменья. Поэт с захватывающе крупным самосознанием, дальше всех зашедший в обнаженьи лирической стихии и со средневековой смелостью сблизивший ее с темою, в безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти сектантских отождествлений, он так же широко и крупно подхватил другую традицию, более местную.

Он видел под собою город, постепенно к нему поднявшийся со дна «Медного Всадника», «Преступления и наказания» и «Петербурга», город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемою русской интеллигенции, по существу же город в дымке вечных гаданий о будущем, русский необеспеченный город девятнадцатого и двадцатого столетья.

Он обнимал такие виды и наряду с этими огромными созерцаньями почти как долгу верен был всем карликовым затеям своей случайной, наспех набранной и всегда до неприличья посредственной клики. Человек почти животной тяги к правде, он окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний. Или, чтобы назвать главное. Он до конца все что-то находил в ветеранах движенья, им самим давно и навсегда упраздненного. Вероятно, это были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направленьи осознанной неизбежности.

10

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Однако все это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянина, свое и Большаковское о войне и городе, и город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла.

Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабженья. Уже из новых слов – наряд, медикаменты, лицензия и холодильное дело – вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем, как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населенья в обмен на порченное, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры.

Местом истинных положений был фронт, и тыл все равно попадал бы в ложное, даже если бы в придачу к этому не изощрялся в добровольной лжи. Город прятался за фразы, как пойманный вор, хотя тогда еще никто его не ловил. Как все лицемеры, Москва жила повышенно внешней жизнью и была ярка неестественной яркостью зимней цветочной витрины.

Ночами она казалась вылитым голосом Маяковского. То, что в ней творилось, и то, что громоздил и громил этот голос, было как две капли воды. Но это не было то сходство, о котором мечтает натурализм, а та связь, которая сочетает воедино анод и катод, художника и жизнь, поэта и время.

От М-вой напротив был дом московского полицеймейстера. Осенью в течение нескольких дней меня там сталкивала с Маяковским и, кажется, с Большаковым одна из формальностей, требовавшихся при записи в добровольцы. Процедуру эту мы друг от друга скрывали. Я не довел ее до конца, несмотря на отцово сочувствие. Но, если не ошибаюсь, и у товарищей тогда из нее ничего не вышло.

Меня заклил отказаться от этой мысли сын Шестова{84}, красавец прапорщик. Он с трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре за тем он погиб в первом из боев по возвращеньи на позиции из этого отпуска. Большаков поступил в Тверское кавалерийское училище, Маяковский позднее был призван в свой срок, я же после летнего освобожденья перед самой войной освобождался при всех последующих переосвидетельствованьях.

Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. Война чувствовалась тут меньше, чем у нас. Тут давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный.

Как всегда, оживленное движенье столицы скрадывалось щедростью ее мечтательных, нуждами жизни не исчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимы и сумерек, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снегу, чтобы заставить их мчаться вдаль и играть.

Мы шли с Маяковским по Литейному, он мял взмахами шагов версты улиц, и я, как всегда, поражался его способности быть чем-то бортовым и обрамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому Петрограду он в этом отношеньи шел еще больше, чем Москве.

Это было время «Флейты-позвоночника» и первых набросков «Войны и мира». Тогда книжкой в оранжевой обложке вышло «Облако в штанах».

Он рассказывал про новых друзей, к которым меня вел, про знакомство с Горьким, про то, как общественная тема все шире проникает в его замыслы и позволяет ему работать по-новому, в определенные часы, размеренными порциями. И тогда я в первый раз побывал у Бриков.

Еще естественнее, чем в столицах, разместились мои мысли о нем в зимнем полуазиатском ландшафте «Капитанской дочки», на Урале и в пугачевском Прикамьи.

Вскоре после февральской революции я вернулся в Москву. Из Петрограда приехал и остановился в Столешниковом переулке Маяковский. Утром я зашел к нему в гостиницу. Он вставал и, одеваясь, читал мне новые «Войну и мир». Я не стал распространяться о впечатленьи. Он прочел его в моих глазах. Кроме того, мера его действия на меня была ему известна. Я заговорил о футуризме и сказал, как чудно было бы, если бы он теперь все это гласно послал к чертям. Смеясь, он

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
почти со мной соглашался.

11

В предшествующем я показал, как я воспринимал Маяковского. Но любви без рубцов и жертв не бывает. Я рассказал, каким вошел Маяковский в мою жизнь. Остается сказать, что с ней при этом сделалось. Теперь я восполню этот пробел.

Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был моложе, я бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз.

Случилось другое. Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров».

Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятие. Это было понимание жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.

Это представление владело Блоком лишь в течение некоторого периода. В той форме, в которой оно ему было свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представлением расстался. Усилили его Маяковский и Есенин.

В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом^{85} и христианством, в этом полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплывающемся поэте романтическое непонимание покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непреходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки.

Но вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основание, невымыслим без непозтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое, поглощенное нравственным познанием лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишающийся половины своего содержания.

Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я расставался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно мягка у символистов, героизма не предполагала и кровью еще не пахла. И, во-первых, я освобождался от нее бессознательно, отказываясь от романтических приемов, которым она служила основанием. Во-вторых, я и сознательно избегал ее, как блеска, мне неподходящего, потому что, ограничив себя ремеслом, я боялся всякой поэтизации, которая поставила бы меня в ложное и несоответственное положение.

Когда же явилась «Сестра моя жизнь», в которой нашли выражение совсем несовременные стороны поэзии, открывшиеся мне революционным летом, мне стало совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали.

12

В не убирающуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, террор, крыши и деревья Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушья, производил впечатление холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии. Когда выдавался досуг, он охапками сгребал со стола и сносил на кухню газеты всех направлений за целый месяц вместе с окаменелыми остатками завтраков, которые правильными отложениями из свиной крошки и хлебных горбушек скапливались между его утренними чтениями. Пока я не утратил совести, пламя под плитой по тридцатым числам получалось светлое, громкое и пахучее, как в святочных рассказах Диккенса о жареных гусях и

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru конторщиках. При наступлении темноты постовые открывали вдохновенную пальбу из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными редкими вопрошаньями в ночь, полными жалкой безотзывной смертоносности, и так как им нельзя было попасть в такт и много гибло от шальных пуль, то в целях безопасности по переулкам вместо милиции хотелось расставить фортепьянные метрономы.

Иногда их трескотня переходила в одичалый вопль. И как часто тогда сразу не разобрать бывало, на улице ли это или в доме. А это минутами просветленья среди сплошного беспомыслия звал к себе из кабинета его единственный, переносный со штепселем жилец.

Отсюда телефонным звонком приглашали меня в особняк в Трубниковском, на сбор всех, какие могли только оказаться тогда в Москве, поэтических сил. По этому же телефону, но гораздо раньше, до корниловского мятежа{86}, спорил я с Маяковским.

Маяковский извещал, что поставил меня на свою афишу вместе с Большаковым и Липскеровым, но также и с вернейшими из верных, в том числе и с тем, кажется, что разбивал лбом вершковые доски. Я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем и, приходя во все большее раздраженье, один за другим парировал его доводы в свое оправданье. Я удивлялся не столько его бесцеремонности, сколько проявленной при этом бедности воображенья, потому что инцидент, как говорил я, заключался не в его непрошеном распоряженьи моим именем, а в его досадном убежденьи, что мое двухлетнее отсутствие не изменило моей судьбы и занятий. Следовало вперед поинтересоваться, жив ли я еще и не бросил ли литературы для чего-нибудь лучшего. На это он резонно возражал, что после Урала я уже с ним виделся раз весною. Но удивительнейшим образом резон этот до меня не доходил. И я с ненужной настойчивостью требовал от него газетной поправки к афише, вещи по близости вечера неисполнимой и по моей тогдашней безвестности – аффектированно бессмысленной.

Но хотя я тогда еще прятал «Сестру мою жизнь» и скрывал, что со мной делалось, я не выносил, когда кругом принимали, будто у меня все идет по-прежнему. Кроме того, совсем глухо во мне, вероятно, жил именно тот весенний разговор, на который Маяковский так безуспешно ссылался, и меня раздражала непоследовательность этого приглашенья после всего тогда говорившегося.

13

Телефонную эту перепалку напомнил он мне спустя несколько месяцев в доме стихотворца-любителя А.{87} Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей Белый и Цветаева. Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но не зная и тогдашних замечательных ее «Верст», я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросающуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищенье. Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов.

Началось чтение. Читали по старшинству, без сколько-нибудь чувствительного успеха. Когда очередь дошла до Маяковского, он поднялся и, обняв рукой край пустой полки, которою кончалась диванная спинка, принялся читать «Человека». Он барельефом, каким я всегда видел его на времени, высился среди сидевших и стоявших и, то подпирая рукой красивую голову, то упирая колено в диванный валик, читал вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности.

Против него сидел с Маргаритою Сабашниковой Андрей Белый. Войну он провел в Швейцарии. На родину его вернула революция. Возможно, что Маяковского он видел и слышал впервые. Он слушал как замороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно несло навстречу читавшему, удивляясь и благодаря. Части слушателей я не видел, в их числе Цветаевой и Эренбурга. Я наблюдал остальных. Большинство из рамок завидного самоуваженья не выходило. Все чувствовали себя именами, все – поэтами. Один Белый слушал, совершенно потеряв себя, далеко-далеко унесенный той радостью, которой ничего не жаль, потому что на высотах, где она чувствует себя как дома, ничего, кроме жертв и вечной готовности к ним, не водится.

Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправданья двух последовательно

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru исчерпавших себя литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствии Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи. В тот вечер я это пережил в последний раз.

После этого прошло много лет. Прошел год, и, прочтя ему первому стихи из «Сестры», я услышал от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь услышать. Прошел еще год. Он в тесном кругу прочитал «15000000». И впервые мне нечего было сказать ему. Прошло много лет, в течение которых мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я все меньше и меньше его понимал. Об этом периоде расскажут другие, потому что в эти годы я столкнулся с границами моего понимания, по-видимому – непреодолимыми. Воспоминанья об этом времени вышли бы бледными и ничего бы к сказанному не прибавили. И потому я прямо перейду к тому, что мне еще осталось досказать.

14

Я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта.

Вдруг кончают неподдававшиеся завершенью замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.

Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг – конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланью защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Современник»{88}, собирались ставить крестьянский журнал. Открывали выставку двадцатилетней работы, исхлопывали заграничный паспорт.

Но другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества вдруг по-детски пугались его, как темной комнаты, и ловили руки случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний отказывались верить своим ушам. Люди, получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом.

Но кто поймет и поверит, что Пушкину восемьсот тридцать шестого года внезапно дано узнать себя Пушкиным любого – Пушкиным девятьсот тридцать шестого года. Что настает время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец в ответ на удары главного, которое еще живо, и бьется, и думает, и хочет жить. Что множившиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются и, совпав с содроганьями главного, пускаются жить одною, отныне равноударной с ним жизнью. Что это не иносказанье. Что это переживается. Что это какой-то возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока еще и не названный. Что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть. Что она похожа на смерть. Что она похожа на смерть, но совсем не смерть, отнюдь не смерть, и только бы, только бы люди не пожелали полного схождения.

И вместе с сердцем смещаются воспоминанья и произведенья, произведенья и надежды, мир созданного и мир еще подлежащего созданию. Какова была его личная жизнь, спрашивают иногда. Сейчас вы просветитесь насчет его личной жизни. Огромная, предельного разноречья область стягивается, сосредоточивается, выравнивается и вдруг, вздрогнув одновременно по всем частям своего сложенья, начинает существовать телесно. Она открывает глаза, глубоко вздыхает и сбрасывает с себя последние остатки позы, временно данной ей в подмогу.

И если вспомнить, что все это спит ночью и бодрствует днем, ходит на двух ногах и зовется человеком, естественно ждать соответствующих явлений и в его поведении.

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима. В нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете.

Давно, давно когда-то он был страшен. Его надлежало победить, надо было сломить его непризнание. С тех пор утекло много воды. Его признание вырвано, его покорность вошла в привычку. Требуется большое усилие памяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волнение. В нем мигают огоньки и, кашляя в платки, щелкают на счетах, его засыпает снегом.

Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не эта новая, дикая впечатлительность. Что значит робость отрочества перед уязвимостью этого нового рожденья. И вновь, как в детстве, замечается все. Лампы, машинистки, дверные блоки и калоши, тучи, месяц и снег. Страшный мир.

Он топорщится спинками шуб и санок, он, как гривенник по полу, катится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, где за ним нагибается стрелочница в тулупе. Он перекачивается, и мельчает, и кишит случайностями, в нем так легко напороться на легкий недостаток вниманья. Это неприятности намеренно воображаемые. Они сознательно раздуваются из ничего. Но и раздутые, они совершенно ничтожны в сравненьи с обидами, по которым так торжественно шагало еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той, прежней жизни, разорвать которую было так радостно. О, если бы только эта радость была ровней и правдоподобней.

Но она невероятна и бесподобна, и, однако, так, как швыряет эта радость из крайности в крайность, ничто ни во что никогда еще в жизни не швыряло.

Как тут падают духом. Как опять повторяется весь Андерсен с его несчастным утенком. Каких только слонов не делают тут из мух.

Но, может быть, врет внутренний голос? Может быть, прав страшный мир?

«Просят не курить». «Просят дела излагать кратко». Разве это не истины?

«Этот? Повесится? Будьте покойны», – «Любить? Этот? Ха-ха-ха! Он любит только себя».

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропащается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рожденье? Так это смерть?

15

В отделах записей актов гражданского состоянья приборов для измеренья правдивости не ставят, искренности рентгеном не просвечивают. Для того чтобы запись имела силу, ничего, кроме крепости чужой регистрирующей руки, не требуется. И тогда ни в чем не сомневаются, ничего не обсуждают.

Он напишет предсмертную записку собственной рукой, завещательно представив свою драгоценность миру как очевидность, он свою искренность измерит и просветит быстрым, не поддающимся никакой переделке исполненьем, и кругом пойдут обсуждать, сомневаться и сопоставлять.

Они сравнивают ее с предшественницами, а она сравнима только с ним одним и со всем его предшествующим. Они строят предположенья о его чувстве и не знают, что можно любить не только в днях, хотя бы и навеки, а хотя бы и не навеки, всем полным собраньем прошедших дней.

Но одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего.

Она с детства стеснена в движеньях. Она хороша собой и рано это узнает. Единственный, с кем можно быть вполне собой, это так называемый божий мир, потому что с другими нельзя сделать шагу, чтобы не огорчить или не огорчиться.

Она подростком выходит за ворота. Какие у ней умыслы? Она уже получает письма до востребованья. Она держит в курсе своих тайн двух-трех подруг. Все это у нее уже есть, и допустим: она выходит на свиданье.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха жалость сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить. Ей хочется известности, которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желанья. Ни о чем таком она не думает. На то есть в мире у нее далекий брат, человек огромного обыкновенья, чтобы знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе. Она здраво любит здоровую природу и не создает, что расчет на взаимность вселенной никогда ее не покидает.

Весна, весенний вечер, старушки на лавочках, низкие заборы, волосатые ветлы. Винно-зеленое, слабого настоя, некрепкое, бледное небо, пыль, родина, сухие, щелчущие голоса. Сухие, как щепки, звуки и, вся в их занозах, – гладкая, горячая тишина.

Навстречу – человек по дороге, тот самый, которого естественно было встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права. Кто несколько не пыль, не родина, не тихий весенний вечер? Она забывает, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и она идут дальше. Они идут вдвоем, и чем дальше, тем больше народу попадаетеся им навстречу. И так как она всей душой любит спутника, то ноги немало огорчают ее. Но они несут ее дальше, он и она едва поспевают друг за другом, но неожиданно дорога выводит на некоторую широту, где будто бы малолюднее и можно бы передохнуть и оглянуться, но часто в это же самое время сюда выходит своей дорогой ее далекий брат, и они встречаются, и что бы тут ни произошло, все равно, все равно какое-то совершеннейшее «я – это ты» связывает их всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль на профиль.

16

Начало апреля застало Москву в белом остолбенении вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положенья еще не все привыкли.

Узнав о несчастье, я вызвал на место происшествия Ольгу Силлову{89}. Что-то подсказало мне, что это потрясение даст выход ее собственному горю.

Между одиннадцатую и двенадцатую все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянской проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильной силой события. Ко мне подошли Я. Черняк и Ромадин{90}, первыми известившие меня о несчастье. С ними была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, но в это время сверху на носилках протащили тело, чем-то накрытое с головой. Все бросились вниз и спрудились у выхода, так что когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже выезжала за ворота. Мы потянулись за ней в Гендриков переулок.

За воротами своим чередом шла жизнь, безучастная, как ее напрасно называют. Участье асфальтового двора, вечного участника таких драм, осталось позади.

По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышанье. Ранней весной их голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню.

Трамвай медленно взбирался на Швивую горку. Там есть место, где сперва правый, а потом левый тротуар так близко подбираются под окна вагона, что, хватаясь за ремень, невольным движеньем нагибаешься над Москвой, как к поскользнувшейся старухе, потому что она вдруг опускается на четвереньки, скучно обирает с себя часовщиков и сапожников, подымает и переставляет какие-то крыши и колокольни и вдруг, встав и отряхнув подол, гонит трамвай по ровной и ничем не замечательной улице.

На этот раз ее движенья были столь явным отрывком из застрелившегося, то есть так сильно напоминали что-то важное из его существа, что я весь задрожал и знаменитый телефонный вызов из «Облака» сам собой прогрохотал во мне, словно громко произнесенный кем-то рядом. Я стоял в проходе возле Силловой и наклонился к ней, чтобы напомнить восьмистишье, но

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И чувствую, «я» для меня мало... –
складывали губы, как пальцы в варежках, проговорить же вслух я от волнения не мог ни слова.

В конце Гендрикова у ворот стояли две пустые машины. Их окружала кучка любопытных.

В передней и столовой стояли и сидели в шапках и без шапок. Он лежал дальше, в своем кабинете. Дверь из передней в Лилину комнату была открыта, и у порога, прижав голову к притолоке, плакал Асеев. В глубине у окна, втянув голову в плечи, трясся мелкой дрожью беззвучно рыдавший Кирсанов.

Сырой туман оплакивания прерывался и тут озабоченными разговорами вполголоса, как по окончании панихид, когда после густой, как варенье, службы первые слова, сказанные шепотом, так сухи, что кажутся произнесенными из-под полу и пахнут мышами. В один из таких перерывов в комнату осторожно прошел дворник со стамеской за сапожным голенищем и, вынув зимнюю раму, медленно и бесшумно открыл окно. На дворе раздевшись было еще вдрызг дрожко, и воробы и ребяташки взбадривали себя беспричинным криком.

Выйдя на цыпочках от покойника, кто-то тихо спросил: послана ли телеграмма Лиле. Л. А. Г. {91} ответил, что послали. Женя отвела меня в сторону, обратив внимание на мужество, с каким Л. А. нес страшную тяжесть стряпшегося. Она заплакала. Я крепко сжал ее руку.

В окно лилось кажущееся безучастье безмерного мира. Вдоль по небу, точно между землей и морем, стояли серые деревья и стерегли границу. Глядя на сучья в горячающихся почках, я постарался представить себе далеко-далеко за ними тот маловероятный Лондон, куда отошла телеграмма. Там вскоре должны были вскрикнуть, простереть сюда руки и упасть без памяти. Мне перехватило горло. Я решил опять перейти в его комнату, чтобы на этот раз вырветесь в полную досталь.

Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и куда-то уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть заостривала мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выражение, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал.

Но вот в сенях произошло движение. Особняком от матери и старшей сестры, уже неслышно горевавших среди собравшихся, на квартиру явилась младшая сестра покойного, Ольга Владимировна. Она явилась требовательно и шумно. Перед ней в помещенье вплыл ее голос. Подымаясь одна по лестнице, она с кем-то громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показалась она сама и, пройдя, как по мусору, мимо всех до братниной двери, всплеснула руками и остановилась. «Володя!» – крикнула она на весь дом. Прошло мгновение. «Молчит! – закричала она того пуще. – Молчит. Не отвечает. Володя. Володя!! Какой ужас!»

Она стала падать. Ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва придя в себя, она жадно двинулась к телу и, сев в ноги, торопливо возобновила свой неутоленный диалог. Я разревелся, как мне давно хотелось.

Так не могло плакаться на месте происшествия, где огнестрельную свежесть факта быстро вытеснил стадный дух драмы. Там асфальтовый двор, как селитрой, вонял обожествлением неизбежности, то есть тем фальшивым городским фатализмом, который зиждется на обезьяньей подражательности и представляет жизнь цепью послушно отпечатляемых сенсаций. Там тоже рыдали, но оттого, что потрясенная глотка с животным медиумизмом воспроизводила судорогу жилых корпусов, пожарных лестниц, револьверной коробки и всего того, от чего тошнит отчаянием и рвет убийством.

Сестра первую плакала по нем своей волей и выбором, как плачут по великом, и под ее слова плакалось ненасытимо широко, как под рев органа.

Она же не унималась. «Баню им! – негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральто. – Чтобы посмешнее. Хохотали. Вызывали. – А с ним вот что делалось. – Что ж ты к нам не пришел, Володя?» – навзрыд протянула она, но, тотчас овладев собой, порывисто пересела к нему

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
ближе. «Помнишь, помнишь, Володичка?» – почти как живому вдруг напомнила она и стала декламировать:

И чувствую, «я» для меня мало,
кто-то из меня вырывается упрямо.
Алло!

кто говорит?! Мама!
Мама! Ваш сын прекрасно болен.
Мама! У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,
Ему уже некуда деться.

17

Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо. Уже почти не плакали.

Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.

И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и созидали или же терпели и недоумевали, но все равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще не осуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они объяснялись привычкой к состояниям, хотя и подразумеваемым нашим временем, но еще не вошедшим в свою зловещую силу. Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда.

1930

Люди и положения{92}
(Автобиографический очерк)

Младенчество

1

В «Охранной грамоте», опыте автобиографии, написанном в двадцатых годах, я разобрал обстоятельства жизни, меня сложившие. К сожалению, книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет. В настоящем очерке я не избегаю некоторого пересказа ее, хотя постараюсь не повторяться.

2

Я родился в Москве 29 января 1890 года по старому стилю в доме Лыжина{93}, против Духовной семинарии, в Оружейном переулке. Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпные горки и крашенные рогатки семинарии, игры и побоища гогочущих семинаристов на больших переменах.

Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашу квартиру над воротами, в арке их сводчатого перекрытия.

3

Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, надо всем господствовавшим и все объединявшим. К образу медвежьих чучел в экипажных заведениях Каретного ряда и к образу добряка великана, сутулого, косматого, глухо басившего книгоиздателя П. П. Кончаловского, к его семье и к рисункам карандашом, пером и тушью Серова, Врубеля, моего отца и братьев Васнецовых, висевшим в комнатах его квартиры.

Околоток был самый подозрительный – Тверские-ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамки не терпели одиночества, и тогда пестрое общество окружало нас. И в полдень учили конных жандармов на открытом плацу Знаменских

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
казарм.

Из этого общения с нищими и странницами, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах, я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое.

4

Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой против Почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания.

Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях замечательно. Пожар двенадцатого года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайное убежище масонской ложе. Боковое закругление на углу Мясницкой и Юшкова переулкa заключало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишею входила в стену и сообщалась с актовым залом Училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль к вокзалам.

С этого балкона население дома наблюдало в 1894 году церемониал перенесения праха императора Александра Третьего, а затем, спустя два года, отдельные сцены коронационных торжеств при воцарении Николая Второго.

Стояли учащиеся, преподаватели. Мать держала меня на руках в толпе у перил балкона. Под ногами у нее расступалась пропасть. На дне пропасти посыпанная песком пустая улица замирала в ожидании. Суетились военные, отдавая во всеуслышание громкие приказания, не достигавшие, однако, слуха зрителей наверху, на балконе, точно тишина затаившего дыхания городского люда, оттесненного шпалерами солдат с мостовой к краям тротуаров, поглощала звуки без остатка, как песок воду. Зазвонили уныло, протяжно. Издалека катящаяся и дальше прокатывающаяся волна колыхнулась морем рук к головам. Москва снимала шапки, крестилась. Под отовсюду поднявшийся погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия, войска, духовенство, лошади в черных пополах с султанами, немыслимой пышности катафалк, герольды в невиданных костюмах иного века. И процессия шла и шла, и фасады домов были затянuty целыми полосами крепа и обиты черным, и потупленно висели траурные флаги.

Дух помпы был неотделим от Училища. Оно состояло в ведении министерства императорского двора. Великий князь Сергей Александрович был его попечителем, посещал его акты и выставки. Великий князь был худ и долговяз. Прикрывая шапками альбомы, отец и Серов рисовали карикатуры на него на вечерах у Голицыных и Якунчиковых, где он присутствовал.

5

Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев возвышался флигель. В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру. Этажом выше жил письмоводитель Училища.

Вот что я прочел пятьдесят лет спустя, совсем недавно, в позднейшее советское время, в книге Н. С. Родионова «Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого», на странице 125-й, под 1894 годом:

«23 ноября Толстой с дочерьми ездил к художнику Л. О. Пастернаку в дом Училища живописи, ваяния и зодчества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора Консерватории скрипач И. В. Гржимали и виолончелист А. А. Брандуков».

Тут все верно, кроме небольшой ошибки. Директором Училища был князь Львов, а не отец.

Записанную Родионовым ночь я прекрасно помню{94}. Посреди нее я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали. Занавеска, за которой я лежал и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru надо мной и быстро меня успокоила. Наверное, меня вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он ел им глаза. Они ярко освещали красное лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высывались из платьев, как именные цветы из цветочных корзин. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел. Это был художник Н. Н. Ге. Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его и что его духом проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич.

Отчего же я плакал так и так памятно мне мое страдание? К звуку фортепиано в доме я привык, на нем артистически играла моя мать. Голос рояля казался мне неотъемлемой принадлежностью самой музыки. Тембры струнных, особенно в камерном соединении, были мне непривычны и встревожили, как действительные, в форточку снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести о несчастье.

То была, кажется, зима двух кончин – смерти Антона Рубинштейна и Чайковского{95}. Вероятно, играли знаменитое трио{96} последнего.

Эта ночь межевою вехой пролегла между беспмятностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого.

6

Весной в залах Училища открывались выставки передвижников. Выставку привозили зимой из Петербурга. Картины в ящиках ставили в сараи, которые линией тянулись за нашим домом, против наших окон. Перед Пасхой ящики выносили во двор и распаковывали под открытым небом перед дверьми сараев. Служащие Училища вскрывали ящики, отвинчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек и по двое на руках пронесли через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно за ними следили. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотна Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранений.

Близкие отцу художники и он сам выставлялись у передвижников только вначале и недолго. Скоро Серов, Левитан, Коровин, Врубель, Иванов, отец и другие составили более молодое объединение «Союз русских художников».

В конце девяностых годов в Москву приехал всю жизнь проведший в Италии скульптор Павел Трубецкой. Ему предоставили новую мастерскую с верхним светом, пристроив ее снаружи к стене нашего дома и захватив пристройкою окно нашей кухни. Прежде окно смотрело во двор, а теперь стало выходить в скульптурную мастерскую Трубецкого. Из кухни мы наблюдали его лепку и работу его формовщика Робекки, а также его модели, от позировавших ему маленьких детей и балерин до парных карет и казаков верхами, свободно въезжавших в широкие двери высокой мастерской.

Из той же кухни производилась отправка в Петербург замечательных отцовских иллюстраций к толстовскому «Воскресению». Роман по мере окончательной отделки глава за главой печатался в журнале «Нива», у петербургского издателя Маркса. Работа была лихорадочная. Я помню отцову спешку. Номера журнала выходили регулярно, без опоздания. Надо было поспеть к сроку каждого.

Толстой задерживал корректуры и в них все переделывал. Возникла опасность, что рисунки к начальному тексту разойдутся с его последующими изменениями. Но отец делал зарисовки там же, откуда писатель черпал свои наблюдения, – в суде, пересыльной тюрьме, в деревне, на железной дороге. От опасности отступлений спасал запас живых подробностей, общность реалистического смысла.

Рисунки ввиду спешности отправляли с оказией. К делу привлечена была кондукторская бригада курьерских поездов Николаевской железной дороги. Детское воображение поражал вид кондуктора в форменной железнодорожной шинели, стоявшего в ожидании на пороге кухни, как на перроне у вагонной дверцы отправляемого поезда.

На плите варился столярный клей. Рисунки второпях протирали, сушили фиксативом, наклеивали на картон, заворачивали, завязывали. Готовые пакеты запечатывали сургучом и сдавали кондуктору.

Скрябин

1

Два первые десятилетия моей жизни сильно отличаются одно от другого. В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья с легендарными чертами третьего Рима или былинного стольного града и всем великолепием своих знаменитых сорока сороков. Были в силе старые обычаи. Осенью в Юшковом переулке, куда выходил двор Училища, во дворе церкви Флора и Лавра, считавшихся покровителями коневодства, производилось освящение лошадей, и ими, вместе с приводившими их на освящение кучерами и конюхами, наводнялся весь переулок до ворот Училища, как в конную ярмарку.

С наступлением нового века на моей детской памяти мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству – искусству большого города, молодому, современному, свежему.

2

Горячка девятисотых годов отразилась и на Училище. Казенных ассигнований не хватало на его содержание. Поручили дельцам изыскание денежных средств для пополнения бюджета. Решено было возводить на земле Училища многоэтажные жилые корпуса для сдачи квартир внаем, а посередине владения, на месте прежнего сада, выстроить стеклянные выставочные помещения для сдачи в аренду. В конце девяностых годов, стали сносить дворовые флигеля и сараи. На месте выкорчеванного сада вырыли глубокие котлованы. Котлованы наполнялись водой, в них, как в прудах, плавали утонувшие крысы, с земли в них прыгали и ныряли лягушки. Наш флигель тоже предназначен был на слом.

Зимой нам оборудовали новую квартиру из двух или трех классных комнат и аудиторий в главном здании. Мы в нее перебрались в 1901 году. Так как квартиру перекраивали из помещений, из которых одно было круглое, а другое еще более прихотливой формы, то в новом жилище, в котором мы прожили десять лет, были чулан и ванна с площадью в виде полумесяца, овальная кухня и столовая со входящим в нее полукруглым выемом. За дверью всегда слышался заглушенный гул училищных мастерских и коридоров, а из крайней, пограничной комнаты можно было слушать лекции по устройству отопления профессора Чаплыгина{97} в архитектурном классе.

Предшествующие годы, еще на старой квартире, со мной занимались дошкольным обучением то мать, то какой-нибудь приглашенный частный преподаватель. Одно время меня готовили в Петропавловскую гимназию, и я проходил все предметы начальной программы по-немецки.

Из этих наставников, которых я вспоминаю с благодарностью, назову первую свою учительницу Екатерину Ивановну Боратынскую, детскую писательницу и переводчицу литературы для юношества с английского. Она обучала меня грамоте, начаткам арифметики и французскому с самых аздов, с того, как сидеть на стуле и держать ручку с пером в руке. Меня водили к ней на урок в занимаемый ею номер меблированных комнат. В номере было темно. Он снизу доверху был набит книгами. В нем пахло чистотой, строгостью, кипяченым молоком и жженым кофе. За окном, покрытым кружевной вязаной занавеской, шел, напоминая петли вязанья, грязноватый, серо-кремовый снег. Он отвлекал меня, и я отвечал Екатерине Ивановне, разговаривавшей со мной по-французски, невпопад. По окончании урока Екатерина Ивановна вытирала перо изнанкой кофты и, дождавшись, когда за мной зайдут, отпускала меня.

В 1901 году я поступил во второй класс Московской пятой гимназии, оставшейся классической после реформы Ванновского и сверх введенного в курс естествознания и других новых предметов сохранившей в программе древнегреческий.

3

Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском, близ Малоярославца, по Брянской, ныне – Киевской, железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрябин. Мы и Скрябины тогда еще не были знакомы домами.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки, в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пороли рогожные тюки. Из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сковороды, ведра. Я убежал в лес.

Боже и господи сил, чем он в то утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце, лесная движущаяся тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, на его поднимающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем всегда неожиданным чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть, которое поначалу порывисто громко, а потом постепенно затихает и которое горячей и частой своей настойчивостью похоже на деревья вдаль уходящей чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепианном выражении сочиняли на соседней даче.

Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенней листвой 1903-го, а не 1803 года. И как не было в этом лесу ни одного листика из гофрированной бумаги или крашеной жести, так не было в симфонии ничего ложно глубокого, риторически почтенного, «как у Бетховена», «как у Глинки», «как у Ивана Ивановича», «как у княгини Марьи Алексевны», но трагическая сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо стихийная и свободная, как падший ангел.

Предполагалось, что сочинявший такую музыку человек понимает, кто он такой, и после работы бывает просветленно ясен и отдохновенно спокоен, как бог, в день седьмой почивший от дел своих. Таким он и оказался.

Он часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшему местность. Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силою инерции вприпрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень, точно немногого недоставало, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезности и старался казаться пустым и поверхностным. Тем поразительнее были его парадоксы на прогулках в Оболенском.

Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, нищезанство. В одном они были согласны – во взглядах на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном расходились.

Мне было двенадцать лет. Половины их споров я не понимал. Но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в суть его мнений, я был на его стороне. Скоро он на шесть лет уехал в Швейцарию.

В ту осень возвращение наше в город было задержано несчастным случаем со мной. Отец задумал картину «В ночное». На ней изображались девушки из села Бочарова, на закате верхом во весь опор гнавшие табун в болотистые луга под нашим холмом. Увязавшись однажды за ними, я на прыжке через широкий ручей свалился с разомчавшейся лошади и сломал себе ногу, сросшуюся с укорочением, что освобождало меня впоследствии от военной службы при всех призывах.

Я уже и раньше, до лета в Оболенском, немного брэнчал на рояле и с грехом пополам подбирал что-то свое. Теперь, под влиянием обожания, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. С этой осени я шесть следующих лет, все гимназические годы, отдал основательному изучению теории композиции, сперва под наблюдением тогдашнего теоретика музыки и критика, благороднейшего Ю. Д. Энгеля, а потом под руководством профессора Р. М. Глиэра.

Никто не сомневался в моей будущности. Судьба моя была решена, путь правильно избран. Меня прочили в музыканты, мне все прощали ради музыки, все виды неблагодарного свинства по отношению к старшим, которым я в подметки не годился, упрямство, непослушание, небрежности и странности поведения. Даже в гимназии,

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
когда на уроках греческого или математики меня накрывали за решением задач по фуге и контрапункту в разложенной на парте нотной тетради и, спрошенный с места, я стоял как пень и не знал, что ответить, товарищи всем классом выгораживали меня и учителя мне все спускали. И, несмотря на это, я оставил музыку.

Я ее оставил, когда был вправе ликовать и все кругом меня поздравляли. Бог и кумир мой вернулся из Швейцарии с «Экстазом» и своими последними произведениями. Москва праздновала его победы и возвращение. В разгаре его торжеств я осмелился явиться к нему и сыграл ему свои сочинения. Прием превзошел мои ожидания. Скрябин выслушал, поддержал, окрылил, благословил меня.

Но никто не знал о тайной беде моей, и скажи я о ней, никто бы мне не поверил. При успешно подвинувшемся сочинительстве я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл на рояле и даже ноты разбирал недостаточно бегло, почти по складам. Этот разрыв между ничем не облегченной новой музыкальной мыслью и ее отставшей технической опорой превращал подарок природы, который мог бы служить источником радости, в предмет постоянной муки, которой я в конце концов не вынес.

Как возможно было такое несоответствие? В основе его лежало нечто недолжное, взывавшее к отплате, непозволительная отроческая заносчивость, Цигилистическое пренебрежение недоучки ко всему казавшемуся наживным и достижимым. Я презирал все нетворческое, ремесленное, имея дерзость думать, что в этих вещах разбираюсь. В настоящей жизни, полагал я, все должно быть чудом, предназначением свыше, ничего умышленного, намеренного, никакого своеволия.

Это была оборотная сторона скрябинского влияния, в остальном ставшего для меня решающим. Его эгоцентризм был уместен и оправдан только в его случае. Семена его воззрений, по-детски превратно понятых, упали на благодарную почву.

Я и без того с малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тягой к провиденциальному. Чуть ли не с родионовской ночи я верил в существование высшего героического мира, которому надо служить восхищенно, хотя он приносит страдания. Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был близок к самоубийству!

Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не поверил. То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, может быть, по воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещилось, что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока. То я воображал, что я не сын своих родителей, а найденный и усыновленный ими приемыш.

В моих несчастиях с музыкой также были виноваты не прямые, мнимые причины, гадания на случайностях, ожидание знаков и указаний свыше. У меня не было абсолютного слуха, способности угадывать высоту любой произвольно взятой ноты, умения, мне в моей работе совершенно ненужного. Отсутствие этого свойства печалило и унижало меня, в нем я видел доказательство того, что моя музыка негодна судьбе и небу. Под таким множеством ударов я поникал душой, у меня опускались руки.

Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно пропадающего навыка. Но потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами.

4

Скрябинские рассуждения о сверхчеловеке были исконной русской тягой к чрезвычайности. Действительно, не только музыке надо быть сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий явлению определенность, характер.

Ввиду моей нынешней отсталости от музыки и моих отмерших и совершенно истлевших связей с ней, Скрябиным моих воспоминаний, Скрябиным, которым я жил и питался, как хлебом насущным, остался Скрябин среднего периода, приблизительно от третьей сонаты до пятой.

Гармонические зарницы Прометея и его последних произведений кажутся мне только свидетельствами его гения, а не повседневною пищею для души, а в этих свидетельствах я не нуждаюсь, потому что поверил ему без доказательства.

Люди, рано умиравшие, Андрей Белый, Хлебников и некоторые другие, перед смертью углублялись в поиски новых средств выражения, в мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слог, его гласные и согласные{98}.

Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов.

Так на старом моцартовско-фильдовском языке{99} Шопен сказал столько ошеломляюще нового в музыке, что оно стало вторым ее началом.

Так Скрябин почти средствами предшественников обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща. Уже в этюдах восьмого опуса или в прелюдиях одиннадцатого все современно, все полно внутренними, доступными музыки соответствиями с миром внешним, окружающим, с тем, как жили тогда, думали, чувствовали, путешествовали, одевались.

Мелодии этих произведений вступают так, как тотчас же начинают течь у вас слезы, от уголков глаз по щекам, к уголкам рта. Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и пронизательно.

Вдруг в течение мелодии врывается ответ или возражение ей в другом, более высоком и женском голосе и другом, более простом и разговорном тоне. Нечаянное препирательство, мгновенно улаживаемое несогласье. И нота потрясающей естественности вносится в произведение, той естественности, которую в творчестве все решается.

Вещами общеизвестными, ходовыми истинами полно искусство. Хотя пользование ими всем открыто, общеизвестные правила долго ждут и не находят применения. Общеизвестной истине должно выпасть редкое, раз в сто лет улыбающееся счастье, и тогда она находит приложение. Таким счастьем был Скрябин. Как Достоевский не романист только и как Блок не только поэт, так Скрябин не только композитор, но повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры.

Девятисотые годы

1

В ответ на выступления студенчества после манифеста 17 октября буйствовавший охотнорядский сброд громил высшие учебные заведения, университет, Техническое училище. Училищу живописи тоже грозило нападение. На площадках парадной лестницы по распоряжению директора были заготовлены кучи булыжника и ввинчены шланги в пожарные краны для встречи погромщиков.

В Училище заворачивали демонстранты из мимо идущих уличных шествий, устраивали митинги в актовом зале, завладевали помещениями, выходили на балкон, произносили сверху речи оставшимся на улице. Студенты Училища входили в боевые организации, в здании ночью дежурила своя дружина.

В бумагах отца остались наброски: в агитаторшу, говорившую с балкона, снизу стреляют налетевшие на толпу драгуны. Ее ранят, она продолжает говорить, хватаясь за колонну, чтобы не упасть.

В конце 1905 года в Москву, охваченную всеобщей забастовкой, приехал Горький. Стояли морозные ночи. Москва, погруженная во мрак, освещалась кострами. По ней, повизгивая, летали шальные пули, и бешено носились конные казачьи патрули по бесшумному, пешеходами не топтанному, девственному снегу.

Отец виделся с Горьким по делам журналов политической сатиры – «Бича», «Жупела» и других, куда тот его приглашал.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Вероятно, тогда или позже, после годичного пребывания с родителями в Берлине, я увидел первые в моей жизни строки Блока. Я не помню, что это было такое, «Вербочки» или из «Детского», посвященного Олениной д'Альгейм, или что-нибудь революционное, городское, но свое впечатление помню так отчетливо, что могу его восстановить и берусь описать.

2

Что такое литература в ходовом, распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен, в молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительности. И когда в этом царстве установившейся и только потому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота, точно распахиваются двери и в них проникает шум идущей снаружи жизни, точно не человек сообщает о том, что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было и с Блоком. Таково было его одинокое, по-детски неиспорченное слово, такова сила его действия.

Бумага содержала некоторую новость. Казалось, что новость сама без спроса расположилась на печатном листе, а стихотворения никто не писал и не сочинял. Казалось, страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях и звездах, но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала свою ветреную рябь, сами оставили в нем свои сырые, могучие воздействующие следы.

3

С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников, о которых речь будет ниже. У Блока было все, что создает великого поэта, – огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба. Из этих качеств и еще многих других остановлюсь на одной стороне, может быть наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной, – на блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдений.

Свет в окошке шатался.
В полумраке – один –
У подъезда шептался
С темнотой арлекин.

.....
По улицам метель метет,
Свивается, шатается,
Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.

.....
Там кто-то машет, дразнит светом.
Так зимней ночью на крыльцо
Тень чья-то глянет силуэтом
И быстро скроется лицо.

.....
Прилагательные без существительных, сказуемые без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость – как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием – улица.

Эти черты проникают существо Блока, Блока основного и преобладающего, Блока второго тома алконостовского издания, Блока «Страшного мира», «Последнего дня», «Обмана», «Повести», «Легенды», «Митинга», «Незнакомки», стихов: «В туманах, над сверканьем рос», «В кабаках, в переулках, в извивах», «Девушка пела в церковном хоре».

Черты действительности как током воздуха занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги. Даже самое далекое, что могло бы показаться мистикой, что можно бы назвать «божественным». Это тоже не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его стихам клочки церковно-бытовой реальности, места из ектеньи, молитвы перед причащением и панихидных псалмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на службах.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии.

Этот город, этот Петербург Блока – наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное, будничное просторечие, которое освежает язык поэзии.

В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такую нервную, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира.

4

Я имел случай и счастье знать многих старших поэтов, живших в Москве, – Брюсова, Андрея Белого, Ходасевича, Вячеслава Иванова, Балтрушайтиса. Блоку я впервые представился в его последний наезд в Москву, в коридоре или на лестнице Политехнического музея в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья.

В этот вечер он выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме печати и в Обществе Данте Алигьери, где собрались самые ревностные его поклонники и где он читал свои «Итальянские стихи».

На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят бенефис, разнос и кошачий концерт{100}. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.

Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины.

5

В те годы наших первых дерзаний только два человека, Асеев и Цветаева, владели зрелым, совершенно сложившимся поэтическим слогом. Хваленая самобытность других, в том числе и моя, проистекала от полной беспомощности и связанности, которые не мешали нам, однако, писать, печататься и переводить. Среди удручающе неумелых писаний моих того времени самые страшные – переведенная мною пьеса Бен Джонсона «Алхимик» и поэма «Тайны» Гёте в моем переводе. Есть отзыв Блока об этом переводе{101} среди других его рецензий, написанных для издательства «Всемирная литература» и помещенных в последнем томе его собрания. Пренебрежительный, уничтожающий отзыв, в оценке своей заслуженный, справедливый. Однако от забежавших вперед подробностей пора вернуться к покинутому нами изложению, остановившемуся у нас на годах давно прошедших, девятисотых.

6

Гимназистом третьего или четвертого класса я по бесплатному билету, предоставленному дядею, начальником петербургской товарной станции Николаевской железной дороги, один ездил в Петербург на рождественские каникулы. Целые дни я бродил по улицам бессмертного города, точно ногами и глазами пожирая какую-то гениальную каменную книгу, а по вечерам пропадал в театре Комиссаржевской. Я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Шибышевским.

Еще большее, настоящее представление о путешествии получил я от поездки всей семьей в 1906 году в Берлин. Я в первый раз попал тогда за границу.

Все необычно, все по-другому. Как будто не живешь, а видишь сон, участвуешь в выдуманном, ни для кого не обязательном театральном представлении. Никого не знаешь, никто тебе не указ. Длинный ряд распахивающихся и захлопывающихся дверец вдоль всей стены вагона, по отдельной дверце в каждое купе. Четыре рельсовых пути по кольцевой эстакаде, высящейся над улицами, каналами, скаковыми конюшнями и задними дворами исполинского города. Нагоняющие, обгоняющие друг друга, идущие

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru рядом и расходящиеся поезда. Двоящиеся, скрещивающиеся, пересекающие друг друга огни улиц под мостами, огни вторых и третьих этажей на уровне свайных путей, иллюминированные разноцветными огоньками автоматические машины в вокзальных буфетах, выбрасывающие сигары, лакомства, засахаренный миндаль. Скоро я привык к Берлину, слонялся по его бесчисленным улицам и беспредельному парку, говорил по-немецки, подделываясь под берлинский выговор, дышал смесью паровозного дыма, светильного газа и пивного чада, слушал Вагнера.

Берлин был полон русскими. Композитор Ребиков играл знакомым свою «Елку» и делил музыку на три периода: на музыку животную до Бетховена, музыку человеческую в следующем периоде и музыку будущего после себя.

Был в Берлине и Горький. Отец рисовал его. Андреевой не понравилось, что на рисунке скулы выступили, получились угловатыми. Она сказала: «Вы его не поняли. Он готический». Так тогда выражались.

7

Наверное, после этого путешествия, по возвращении в Москву, в жизнь мою вошел другой великий лирик века, тогда едва известный, а теперь всем миром признанный немецкий поэт Райнер Мария Рильке.

В 1900 году он ездил в Ясную Поляну, к Толстому, был знаком и переписывался с отцом и одно лето прогостил под Клином, в Завидове, у крестьянского поэта Дрожжина.

В эти далекие годы он дарил отцу свои ранние сборники с теплыми надписями. Две такие книги с большим запозданием попались мне в руки в одну из описываемых зим и ошеломили меня тем же, чем поразили первые виденные стихотворения Блока: настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточностью, прямым назначением речи.

8

У нас Рильке совсем не знают. Немногочисленные попытки передать его по-русски неудачны. Переводчики не виноваты. Они привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного, а тут все дело в тоне.

В 1913 году в Москве был Верхарн. Отец рисовал его. Иногда он обращался ко мне с просьбой занять портретируемого, чтобы у модели не застывало и не мертвело лицо. Так однажды я развлекал историка В. О. Ключевского. Так пришлось мне занимать Верхарна. С понятным восхищением я говорил ему о нем самом и потом робко спросил его, слышал ли он когда-нибудь о Рильке. Я не предполагал, что Верхарн его знает. Позировавший преобразился. Отцу лучшего и не надо было. Одно это имя оживило модель больше всех моих разговоров. «Это лучший поэт Европы, – сказал Верхарн, – и мой любимый названный брат».

У Блока проза остается источником, откуда вышло стихотворение. Он ее не вводит в строй своих средств выражения. Для Рильке живописующие и психологические приемы современных романистов (Толстого, Флобера, Пруста, скандинавов) неотделимы от языка и стиля его поэзии.

Однако, сколько бы я ни разбирал и ни описывал его особенностей, я не дам о нем понятия, пока не приведу из него примеров, которые я нарочно перевел для этой главы с целью такого ознакомления.

9

ЗА КНИГОЙ

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья, строки рвутся,
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,
И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог
Дороже золота ценя при этом.
И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему.
Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
И крайняя звезда в конце села
Как свет в последнем домике прихода.

СОЗЕРЦАНИЕ

Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах,
И я их сообщений странных
Не в силах слышать среди неожиданных
Невзгод, в скитаньях постоянных,
Один, без друга и сестры.
Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома,
И вновь без возраста природа,
И дни, и вещи обихода,
И даль пространств, как стих псалма.
Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас.
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.
Все, что мы побеждаем, – малость,
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
Зовет борцов совсем не тех.
Так ангел Ветхого завета
Нашел соперника под стать.
Как арфу, он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.
Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознаньи и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

10

Приблизительно с 1907 года стали расти как грибы издательства, часто давали концерты новой музыки, одна за другою открывались выставки картин «Мира искусства», «Золотого руна», «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Голубой розы». Вместе с русскими именами Сомова, Сапунова, Судейкина, Крымова, Ларионова, Гончаровой мелькали французские имена Боннара и Вюйара. На выставках «Золотого руна», в затененных занавесями залах, где пахло землей, как в теплицах, от наставленных кругом горшков с гиацинтами, можно было видеть присланные на выставку работы Матисса и Родена. Молодежь примыкала к этим направлениям.

На территории одного из новых домов Разгуляя во дворе сохранялось, старое деревянное жильё домовладельца-генерала. В мезонине сын хозяина, поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, собирал молодых людей своего толка. У него были слабые легкие. Зимы он проводил за границей. Знакомые собирались у него в хорошую

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
погоду весной и осенью. Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом. Здесь я познакомился со множеством народа.

Хозяин, талантливейшее существо и человек большого вкуса, начитанный и образованный, говоривший на нескольких иностранных языках свободно, как по-русски, сам воплощал собою поэзию в той степени, которая составляет очарование любительства и при которой трудно быть еще вдобавок творчески сильною личностью, характером, из которого вырабатывается мастер. У нас были сходные интересы, общие любимцы. Он мне очень нравился.

Здесь бывал ныне умерший Сергей Николаевич Дурылин, тогда писавший под псевдонимом Сергей Раевский. Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах. Он жил бедно, держа мать и тетку уроками, и своей восторженной прямою и неистовою убежденностью напоминал образ Белинского, как его рисуют предания.

Здесь университетский мой товарищ К. Г. Локс, которого я знал раньше, впервые показал мне стихотворения Иннокентия Анненского, по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, мне тогда еще неведомым.

У кружка было свое название. Его окрестили «Сердардой», именем, значения которого никто не знал. Это слово будто бы слышал член кружка, поэт и бас Аркадий Гурьев однажды на Волге. Он его слышал в ночной суматохе двух сошедшихся у пристани пароходов, когда один пришвартовывают к другому и публика с нового парохода проходит с багажом на пристань через внутренность ранее причаленного, смешиваясь с его пассажирами и вещами.

Гурьев был из Саратова. Он обладал могучим и мягким голосом и артистически передавал драматические и вокальные тонкости того, что он пел. Как все самородки, он одинаково поражал непрерывным скоморошничаньем и задатками глубокой подлинности, проглядывавшими сквозь его ломанье. Незаурядные стихи его предвосхищали будущую необузданную искренность Маяковского и живо передающиеся читателю отчетливые образы Есенина. Это был готовый артист, оперный и драматический, в исконной актерской своей сути, неоднократно изображенной Островским.

У него была лобастая, круглая, как луковица, голова с едва заметным носом и признаками будущей лысины во весь череп, от лба до затылка. Весь он был движение, выразительность. Он не жестикулировал, не размахивал руками, но верх туловища, когда он стоя рассуждал или декламировал, ходил, играл, говорил у него. Он склонял голову, откидывался назад корпусом и ноги ставил врозь, как бы застигнутый в плясовой с притопыванием. Он немного зашибал и в запое начинал верить в свои выдумки. К концу своих номеров он делал вид, что пятка пристала у него к полу и ее не оторвать, и уверял, будто черт ловит его за ногу.

В «Сердарде» бывали поэты, художники, Б. Б. Красин, положивший на музыку блоковские «Вербочки», будущий сотоварищ ранних моих дебютов Сергей Бобров, появлению которого на Разгуляе предшествовали слухи, будто это новонародившийся русский Рембо, издатель «Мусагета» А. М. Кожебаткин, наезжавший в Москву издатель «Аполлона» Сергей Маковский.

Сам я вступил в «Сердарду» на старых правах музыканта, импровизациями на фортепиано изображая каждого входящего в начале вечера, пока собирались.

Быстро проходила короткая весенняя ночь. В раскрытое окошко веяло утренним холодом. Его дыхание подымало полы занавесей, шевелило пламя догоравших свечей, шелестело лежавшими на столе листами бумаги. И все зевали, гости, хозяин, пустые дали, серое небо, комнаты, лестницы. Мы расходились, обгоняя по широким и удлинившимся от безлюдья улицам громыхающие бочки нескончаемого ассенизационного обоза. «Кентавры», – говорил кто-нибудь на языке времени.

11

Вокруг издательства «Мусагет» образовалось нечто вроде академии. Андрей Белый, Степун, Рачинский, Борис Садовский, Эмилий Метнер, Шенрок, Петровский, Эллис, Нилендер занимались с сочувственной молодежью вопросами ритмики, историей немецкой романтики, русской лирики, эстетикой Гёте и Рихарда Вагнера, Бодлером и французскими символистами, древнегреческой досократовской философией.

Душой всех этих начинаний был Андрей Белый, неотразимый авторитет этого круга тех дней, первостепенный поэт и еще более поразительный автор «Симфоний» в прозе и романов «Серебряный голубь» и «Петербург», совершивших переворот в дореволюционных вкусах современников и от которых пошла первая советская проза.

Андрей Белый обладал всеми признаками гениальности, не введенной в русло житейскими помехами, семьей, непониманием близких, разгулявшейся вхолостую и из силы производительной превратившейся в бесплодную и разрушительную силу. Этот изъян излишнего одухотворения не ронял его, а вызывал участие и прибавлял страдальческую черту к его обаянию.

Он вел курс практического изучения русского классического ямба и методом статистического подсчета разбирал вместе со слушателями его ритмические фигуры и разновидности. Я не посещал работ кружка, потому что, как и сейчас, всегда считал, что музыка слова – явление совсем не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания.

Иногда молодежь при «Мусагете» собиралась не в конторе издательства, а в других местах. Таким сборным местом была мастерская скульптора Крахта на Пресне.

В мастерской был жилой верх в виде неогороженных, свешивавшихся над ней полатей, а внизу, задрапированные плющом и другой декоративной зеленью, белели слепки с античных обломков, гипсовые маски и собственные работы хозяина.

Однажды поздней осенью я читал в мастерской доклад под названием «Символизм и бессмертие»^{102}. Часть общества сидела внизу, часть слушала сверху, разлегшись на полу антресолей и выставив за их край головы.

Доклад основывался на соображении о субъективности наших восприятий, на том, что ощущаемым нами звукам и краскам в природе соответствует нечто иное, объективное колебание звуковых и световых волн. В докладе проводилась мысль, что эта субъективность не является свойством отдельного человека, но есть качество родовое, сверхличное, что это субъективность человеческого мира, человеческого рода. Я предполагал в докладе, что от каждой умирающей личности остается доля этой неумирающей, родовой субъективности, которая содержалась в человеке при жизни и которую он участвовал в истории человеческого существования. Главную целью доклада было выставить допущение, что, может быть, этот предельно субъективный и всечеловеческий угол или выдел души есть извечный круг действия и главное содержание искусства. Что, кроме того, хотя художник, конечно, смертен, как все, счастье существования, которое он испытал, бессмертно и в некотором приближении к личной и кровной форме его первоначальных ощущений может быть испытано другими спустя века после него по его произведениям.

Доклад назывался «Символизм и бессмертие» потому, что в нем утверждалась символическая условная сущность всякого искусства в том самом общем смысле, как можно говорить о символике алгебры.

Доклад произвел впечатление. О нем говорили. Я с него вернулся поздно. Дома я узнал, что задержанный болезнью в пути после ухода из Ясной Поляны Толстой скончался на станции Астапово и что отец вызван туда телеграммой. Мы быстро собрались и отправились на Павелецкий вокзал, к ночному поезду^{103}.

12

Тогда выезд за город был заметнее, чем теперь, сельская местность больше отличалась от городской, чем в настоящее время. С утра окно вагона наполнила и уже весь день не оставляла ровная, едва оживляемая редкими селениями ширь паров и озимей, тысячеверстная ширь России пахотной, деревенской, которая кормила небольшую городскую Россию и на нее работала. Землю уже посеребрили первые морозы, и необлетевшее золото берез обрамляло ее по межам, и это серебро морозов и золото берез скромным украшением лежало на ней, как листочки накладного золота и серебряной фольги на ее святой и смиренной старине.

Вспаханная и отдыхающая земля мелькала в окнах вагона и не знала, что где-то рядом, совсем неподалеку, умер ее последний богатырь, который по родовитости мог быть ее царем, а по искушенности ума, избалованного всеми тонкостями мира, баловнем всем баловникам и барином всем барам и который, однако, из любви к ней

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
и совестливости перед ней ходил за сохой и одевался и подпоясывался по-мужицки.

13

Наверное, стало известно, что покойного будут рисовать, а потом приехавший с Меркуровым формовщик будет снимать с головы маску, и прощавшихся удалили из комнаты. Когда мы вошли, она была пуста. Из дальнего угла навстречу отцу быстро шагнула заплаканная Софья Андреевна и, схватив его за руки, судорожно и прерывисто промолвила сквозь слезы: «Ах, Леонид Осипович, что я перенесла! Вы ведь знаете, как я его любила!» И она стала рассказывать, как она пыталась покончить с собой, когда Толстой ушел, и топилась и как ее, едва живую, вытащили из пруда.

В комнате лежала гора, вроде Эльбруса, и она была ее большой отдельной скалой. Комнату занимала грозовая туча в полнеба, и она была ее отдельной молнией. И она не знала, что обладает правом скалы и молнии безмолвствовать, и подавлять загадочностью поведения, и не вступать в тяжбу с тем, что было самым нетолстовским на свете, – с толстовцами, и не принимать карликового боя с этой стороной.

А она оправдывалась и призывала отца в свидетели того, что преданностью и идейным пониманием превосходит соперников и уберегла бы покойного лучше, чем они. Боже, думал я, до чего можно довести человека и более того: жену Толстого.

Странно, в самом деле. Современный человек, отрицающий дуэль как устаревший предрассудок, пишет огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина{104}. Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений к Онегину и написал бы пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне.

14

Но в углу лежала не гора, а маленький сморщенный старичок, один из сочиненных Толстым старичков, которых десятки он описал и рассыпал по своим страницам. Место было кругом утыкано невысокими елочками. Садившееся солнце четырем наклонными снопами света пересекало комнату и крестило угол с телом крупной тенью окопных крестовин и мелкими, детскими крестиками вычертившихся елочек.

Станционный поселок Астапово представлял в тот день нестройно шумевший табор мировой журналистики. Бойко торговал буфет на вокзале, официанты сбивались с ног, не поспевая за требованиями и бегом разнося поджаристые бифштексы с кровью. Рекою лилось пиво.

На вокзале были Толстые Илья и Андрей Львовичи. Сергей Львович прибыл в поезде, пришедшем за прахом Толстого для перевоза его в Ясную Поляну.

С пением «Вечной памяти» студенты и молодежь перенесли гроб с телом по станционному дворику и саду на перрон, к поданному поезду, и поставили в товарный вагон. Толпа на платформе обнажила головы, и под возобновившееся пенье поезд тихо отошел в тульском направлении.

Было как-то естественно, что Толстой упокоился, успокоился у дороги, как странник, близ проездных путей тогдашней России, по которым продолжали пролетать и круговращаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ничтожную мимолежашую станцию, не зная, что глаза, которые всю жизнь на них смотрели, и обняли их взором, и увековечили, навсегда на ней закрылись.

15

Если взять по одному качеству от каждого писателя, например, назвать страстность Лермонтова, многосодержательность Тютчева, поэтичность Чехова, ослепительность Гоголя, силу воображения Достоевского, – что сказать о Толстом, ограничив определение одной чертой?

Главным качеством этого моралиста, уравниателя, проповедника законности, которая охватывала бы всех без послаблений и изъятий, была ни на кого не похожая, парадоксальности достигавшая оригинальность.

Он всю жизнь, во всякое время обладал способностью видеть явления в оторванной

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru окончательности отдельного мгновения, в исчерпывающем выпуклом очерке, как глядим мы только в редких случаях, в детстве, или на гребне всеобновляющего счастья, или в торжестве большой душевной победы.

Для того чтобы так видеть, глаз наш должна направлять страсть. Она-то именно и озаряет своей вспышкой предмет, усиливая его видимость.

Такую страсть, страсть творческого созерцания, Толстой постоянно носил в себе. Это в ее именно свете он видел все в первоначальной свежести, по-новому и как бы впервые. Подлинность виденного им так расходится с нашими привычками, что может показаться нам странной. Но Толстой не искал этой странности, не преследовал ее в качестве цели, а тем более не сообщал ее своим произведениям в виде писательского приема{105}.

Перед Первой мировой войной

1

Половину 1912 года, весну и лето, я пробыл за границей. Время наших учебных каникул приходится на Западе на летний семестр. Этот семестр я провел в старинном университете города Марбурга.

В этом университете Ломоносов слушал математика и философа Христиана Вольфа. За полтора столетия до него здесь проездом из-за границы, перед возвращением на родину и смертью на костре в Риме, читал очерк своей новой астрономии Джордано Бруно.

Марбург – маленький средневековый городок. Тогда он насчитывал 29 тысяч жителей. Половину составляли студенты. Он живописно лепится по горе, из которой добыт камень, пошедший на постройку его домов и церквей, замка и университета, и утопает в густых садах, темных как ночь.

У меня остались крохи от средств, отложенных на жизнь и учение в Германии. На этот неизрасходованный остаток я съездил в Италию. Я видел Венецию, кирпично-розовую и аквамаринно-зеленую, как прозрачные камешки, выбрасываемые морем на берег, и посетил Флоренцию, темную, тесную, стройную, – живое извлечение из дантовских терцин. На осмотр Рима у меня не хватило денег.

В следующем году я окончил Московский университет. Мне в этом помог Мансуров, оставленный при университете молодой историк. Он снабдил меня целым собранием подготовительных пособий, по которым сам он сдавал государственный экзамен в предшествующем году. Профессорская библиотека с избытком превышала экзаменационные требования и кроме общих руководств содержала подробные справочники по классическим древностям и отдельные монографии по разным вопросам. Я насилу увез это богатство на извозчике.

Мансуров был родней и другом молодого Трубецкого и Дмитрия Самарина. Я их знал по Пятой гимназии, где они ежегодно сдавали экзамены экстернами, обучаясь дома.

Старшие Трубецкие, отец и дядя студента Николая, были – один профессором энциклопедии права, другой ректором университета и известным философом. Оба отличались крупной корпуленцией и, слонами в сюртуках без талий взгромоздясь на кафедру, тоном упрощения глуховатыми, аристократически картавыми, кланчащими голосами читали свои замечательные курсы.

Сходной породы были молодые люди, неразлучную тройкой заглядывавшие в университет, рослые даровитые юноши со сросшимися бровями и громкими голосами и именами.

В этом кругу была в почете Марбургская философская школа. Трубецкой писал о ней и посылал туда наиболее одаренных учеников совершенствоваться. Побывавший там до меня Дмитрий Самарин был в городке своим человеком и патриотом Марбурга. Я туда отправился по его совету.

Дмитрий Самарин был из знаменитой славянофильской семьи, в бывшем имении которой теперь раскинулся городок писателей в Переделкине и Переделкинский детский туберкулезный санаторий. Философия, диалектика, знание Гегеля были у него в крови, были наследственными. Он разбрасывался, был рассеян и, наверное, не вполне нормален. Благодаря странным выходкам, которыми он поражал, когда на него

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru находило, он был тяжел и в общежитии невыносим. Нельзя винить родных, не уживавшихся с ним и с которыми он вечно ссорился.

В начале нэпа он очень опростившимся и всепонимающим прибыл в Москву из Сибири, по которой его долго носила гражданская война. Он опух от голода и был с пути во вшах. Измученные лишениями близкие окружили его заботами. Но было уже поздно. Вскоре он заболел тифом и умер, когда эпидемия пошла на убыль.

Я не знаю, что случилось с Мансуровым, а знаменитый филолог Николай Трубецкой прославился на весь мир и недавно умер в Вене.

2

Лето после государственных экзаменов я провел у родителей на даче в Молодях, близ станции Столбовой по Московско-Курской железной дороге.

В доме, по преданию, казаки нашей отступавшей армии отстреливались от наседавших передовых частей Наполеона. В глубине парка, сливавшегося с кладбищем, зарастали и приходили в ветхость их могилы.

Внутри дома были узкие, по сравнению с их высотой, комнаты, высокие окна. Настольная керосиновая лампа разбрасывала гигантских размеров тени по углам темно-бордовых стен и потолку.

Под парком вилась небольшая речка, вся в крутых водороинах. Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза.

Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водой воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться сидя или полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол. Я читал Тютчева и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку.

В гуще этого дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворения своей первой книги.

Книга называлась до глупости притязательно «Близнец в тучах», из подражания космологическим мудреностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств.

Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутое было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез доводящее удовольствие.

Я старался избегать романтического наигрыша, посторонней интересности. Мне не требовалось громыхать их с эстрады, чтобы от них шарахались люди умственного труда, негодуя: «Какое падение! Какое варварство!» Мне не надо было, чтобы от их скромного изящества мерли мухи и дамы-профессорши после их чтения в кругу шести или семи почитателей говорили: «Позвольте пожать вашу честную руку». Я не добивался отчетливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которой почти без участия слов сами собой начинают двигаться ноги и руки. Я ничего не выражал, не отражал, не отображал, не изображал.

Впоследствии, ради ненужных сближений меня с Маяковским, находили у меня задатки ораторские и интонационные. Это неправильно. Их у меня не больше, чем у всякого говорящего.

Совсем напротив, моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтой было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красками своей черной, бескрасочной печати.

Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял предо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался, весь в облаках и дымах, железнодорожный прощальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них.

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал. Строки «Бывало, раздвинется запад в маневрах ненастий и шпал» из названного «Вокзала» нравились Боброву. У нас было в сообществе с Асеевым и несколькими другими начинающими небольшое содружеское издательство на началах складчины. Знавший типографское дело по службе в «Русском архиве» Бобров сам печатался с нами и выпускал нас. Он издал «Близнеца» с дружеским предисловием Асеева.

Мария Ивановна Балтрушайтис, жена поэта, говорила: «Вы когда-нибудь пожалеете о выпуске незрелой книжки». Она была права. Я часто жалел о том.

3

Шарким летом 1914 года, с засухой и полным затмением солнца, я жил на даче у Балтрушайтисов в большом имении на Оке, близ города Алексина. Я занимался предметами с их сыном и переводил для возникшего тогда Камерного театра, которого Балтрушайтис был литературным руководителем, немецкую комедию Клейста «Разбитый кувшин».

В имении было много лиц из художественного мира: поэт Вячеслав Иванов, художник Ульянов, жена писателя Муратова. Неподалеку, в Тарусе, Бальмонт для того же театра переводил «Сакунталу» Калидасы.

В июле я ездил в Москву на комиссию, призываться, и получил белый билет, чистую отставку, по укорочению сломанной в детстве ноги, с чем и вернулся на Оку к Балтрушайтисам.

Вскоре после этого выдался такой вечер. По Оке долго в пелене тумана, стлавшегося по речным камышам, плыла и приближалась снизу какая-то полковая музыка, польки и марши. Потом из-за мыса выплыл небольшой буксирный пароходик с тремя баржами. Наверное, с парохода увидели имение на горе и решили причалить. Пароход повернул через реку наперерез и подвел баржи к нашему берегу. На них оказались солдаты, многочисленная гренадерская воинская часть. Они высадились и развели костры под горою. Офицеров пригласили наверх ужинать и ночевать. Утром они отвалили. Это была одна из частностей заблаговременно проводившейся мобилизации. Началась война.

4

Тогда я в два срока с перерывами около года прослужил домашним учителем в семье богатого коммерсанта Морица Филиппа, гувернером их сына Вальтера, славного и привязчивого мальчика.

Летом во время московских противонемецких беспорядков в числе крупнейших фирм Эйнема, Ферейна и других громили также Филиппа, контору и жилой особняк.

Разрушения производили по плану, с ведома полиции. Имущества служащих не трогали, только хозяйское. В творившемся хаосе мне сохранили белье, гардероб и другие вещи, но мои книги и рукописи попали в общую кашу и были уничтожены.

Потом у меня много пропадало при более мирных обстоятельствах. Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не все мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог. Я не тужу об исчезновении работ порочных и несовершенных. Но и совсем с другой точки зрения меня никогда не огорчали пропажи.

Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Зерно не даст всхода, если не умрет. Надо жить не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые совместно с памятью вырабатывает забвение.

В разное время у меня по разным причинам затерялись: текст доклада «Символизм и бессмертие». Статьи футуристического периода. Сказка для детей в прозе. Две поэмы. Тетрадь стихов, промежуточная между сборником «Поверх барьеров» и «Сестрой моей, жизнью». Черновик романа в нескольких листового формата тетрадях, которого отделанное начало было напечатано в виде повести «Детство Люверс». Перевод целой трагедии Суинберна из его драматической трилогии о Марии Стюарт.

Из разоренного и наполовину сожженного дома Филиппы перебрались в наемную квартиру. Тут тоже имелась для меня отдельная комната... Я хорошо помню. Лучи

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru садившегося осеннего солнца бороздили комнату и книгу, которую я перелистывал. Вечер в двух видах заключался в ней. Один легким порозовением лежал на ее страницах. Другой составлял содержание и душу стихов, напечатанных в ней. Я завидовал автору, сумевшему такими простыми средствами удержать частицы действительности, в нее занесенные. Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, «Подорожник»{106}.

5

В те же годы, между службою у Филиппов, я ездил на Урал и в Прикамье. Одну зиму я прожил во Всеволодо-Вильве, на севере Пермской губернии, в месте, некогда посещенном Чеховым и Левитаном, по свидетельству А. Н. Тихонова, изобразившего эти места в своих воспоминаниях. Другую перезимовал в Тихих горах на Каме, на химических заводах Ушковых.

В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону.

Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во времена «Капитанской дочки», на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь.

Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву.

На Ижевском заводе я должен был найти и захватить ранее командированного туда инженера и замечательного человека Збарского, поступить в его распоряжение и следовать с ним дальше.

Из Тихих гор гнали в кибитке, крытом возке на полозьях, вечер, ночь напролет и часть следующего дня. Замотанный в три азяма и утопая в сене, я грузным кулем перекачивался на дне саней, лишенный свободы движений. Я дремал, клевал носом, засыпал и просыпался и закрывал и открывал глаза.

Я видел лесную дорогу, звезды морозной ночи. Высокие сугробы горой горбили узкую проезжую стезжку. Часто возок крышею наезжал на нижние ветки нависших пихт, осыпал с них иней и с шорохом проволакивался по ним, таща их на себе. Белизна снежной пелены отражала мерцание звезд и освещала путь. Светящийся снежный покров пугал в глубине, внутри чащи, как вставленная в лес горящая свеча.

Три лошади, запряженные гусем, одна другой в затылок, мчали возок, то одна, то другая сбиваясь в сторону и выходя из ряда. Ямщик поминутно выравнивал их и, когда кибитка клонилась набок, соскакивал с нее, бежал рядом и плечом подпирал ее, чтобы она не упала.

Я опять засыпал, теряя представление о протекшем той порою времени, и вдруг пробуждался от толчка и прекратившегося движения.

Ямской стан в лесу, совершенно как в сказках о разбойниках. Огонек в избе. Шумит самовар, и тикают часы. Пока доvezший кибитку ямщик разоблачается, отходит от мороза и негромко, по-ночному, во внимание к спящим, может быть, за перегородкой, разговаривает с собирающей ему поесть становихой, новый утирает усы и губы, застегивает армяк и выходит на мороз закладывать свежую тройку.

И опять гон вовсю, свист полозьев и дремота и сон. А потом, на другой день, – неведомая даль в фабричных трубах, бескрайняя снежная пустыня большой замерзшей реки и какая-то железная дорога.

6

Бобров незаслуженно тепло относился ко мне. Он неусыпно следил за моей футуристической чистотой и берег меня от вредных влияний. Под таковыми он разумел сочувствие старших. Едва он замечал признаки их внимания, как из страха, чтобы их ласка не ввергла меня в академизм, любыми способами торопился разрушить наметившуюся связь. Я не переставал со всеми ссориться по его милости.

Мне были по душе супруги Анисимовы, Юлиан и его жена Вера Станевич. Невольным образом мне пришлось участвовать в разрыве Боброва с ними{107}.

Мне сделал трогательную надпись на подаренной книге Вячеслав Иванов. Бобров в

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
кругу Брюсова высмеял надпись в таком духе, точно я сам дал толчок
зубоскальству. Вячеслав Иванов перестал со мною кланяться.

Журнал «Современник»{108} поместил мой перевод комедии Клейста «Разбитый
кувшин». Работа была незрелая, неинтересная. Мне следовало в ноги поклониться
журналу за ее помещение. Кроме того, еще больше надлежало мне поблагодарить
редакцию за то, что чья-то неведомая рука прошла по рукописи к ее вящей красе
и пользе.

Но чувство правды, скромность, признательность не были в цене среди молодежи
левых художественных направлений и считались признаками сентиментальности и
кисляйства. Принято было задирать нос, ходить гоголем и нахальничать, и, как это
мне ни претило, я против воли тянулся за всеми, чтобы не упасть во мнении
товарищей.

Что-то случилось с корректурой комедии. Она опоздала и содержала посторонние
приписки наборной, к тексту не относившиеся.

В оправдание Боброва надо сказать, что сам он о деле не имел ни малейшего
представления и в данном случае действительно не ведал, что творил. Он сказал,
что так этого безобразия, мазни в корректуре и непрошеной стилистической правки
оригинала нельзя оставить и что я должен на это пожаловаться Горькому, негласно
причастному, по его сведениям, к ведению журнала. Так я и сделал. Вместо
благодарности редакции «Современника» я в глупом письме, полном деланной,
невежественной фанаберии, жаловался Горькому на то, что со мною были внимательны
и оказали мне любезность. Годы прошли, и оказалось, что я жаловался Горькому на
Горького. Комедия была помещена по его указанию, и он правил ее своею рукою.

Наконец, и знакомство мое с Маяковским началось с полемической встречи двух
враждовавших между собой футуристических групп, из которых к одной принадлежал
он, а к другой я. По мысли устроителей должна была произойти некоторая
потасовка, но ссоре помешало с первых слов обнаружившееся взаимопонимание нас
обоих.

7

Я не буду описывать моих отношений с Маяковским. Между нами никогда не было
короткости. Его признание преувеличивают. Его точку зрения на мои вещи искажают.

Он не любил «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» и писание их считал
ошибкою. Ему нравились две книги – «Поверх барьеров» и «Сестра моя, жизнь».

Я не буду приводить истории наших встреч и расхождений. Я постараюсь дать,
насколько могу, общую характеристику Маяковского и его значения. Разумеется, то
и другое будет субъективно окрашено и пристрастно.

8

Начнем с главного. Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем
самоубийству. Под физическою пыткой на дыбе ежеминутно теряют сознание, муки
истязания так велики, что сами невыносимостью своей близят конец. Но человек,
подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен, впадая в беспамятство от
боли, он присутствует при своем конце, его прошлое принадлежит ему, его
воспоминания при нем, и если он захочет, может воспользоваться ими, перед
смертью они могут помочь ему.

Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от
прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти
воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его.
Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может
быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из
нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в
отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью
ожидания.

Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого, что он осудил что-то в
себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие. Есенин повесился,
толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая – как знать, может
быть, это еще не конец и, не ровен час, бабушка еще надвое гадала. Марина
Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работой, и когда ей показалось,

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru что это непопозволительная роскошь и ради сына она должна временно пожертвовать увлекательную страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, и в испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть, сунула голову в петлю, как под подушку. Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь, и воображал, что больше не достоин глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп. И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: «Ну вот, все кончено. Прощай, Саша».

Но все они мучились неопишимо, мучились в той степени, когда чувство тоски уже является душевною болезнью. И помимо их таланта и светлой памяти участливо склонимся также перед их страданием.

9

Итак, летом 1914 года в кофейне на Арбате должна была произойти сшибка двух литературных групп. С нашей стороны были я и Бобров. С их стороны предполагались Третьяков и Шершеневич{109}. Но они привели с собой Маяковского.

Оказалось, вид молодого человека, сверх ожидания, был мне знаком по коридорам Пятой гимназии, где он учился двумя классами ниже, и по кулуарам симфонических, где он мне попадался на глаза в антрактах.

Несколько раньше один будущий слепой его приверженец показал мне какую-то из первинков Маяковского в печати. Тогда этот человек не только не понимал своего будущего бога, но и эту печатную новинку показал мне со смехом и возмущением, как заведомо бездарную бессмыслицу. А мне стихи понравились до чрезвычайности. Это были те первые ярчайшие его опыты, которые потом вошли в сборник «Простое, как мычание».

Теперь, в кофейне, их автор понравился мне не меньше. Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором.

Сразу угадывалось, что если он и красив, и остроумен, и талантлив, и, может быть, архиталантлив, – это не главное в нем, а главное – железная внутренняя выдержка, какие-то заветы или устои благородства, чувство долга, по которому он не позволял себе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым.

И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей.

Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. Иногда в период упадка главных центров глухие углы спасала задержавшаяся в них благодетельная старина. Так, в царство танго и скетингрингов[24] Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустье еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным.

Природные внешние данные молодой человек чудесно дополнял художественным беспорядком, который он напускал на себя, грубоватой и небрежной громоздкостью души и фигуры и бунтарскими чертами богемы, в которые он с таким вкусом драпировался и играл.

10

Я очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничания ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся, была так необычна. Это была поэзия мастерски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь.

Время! Хоть ты, хромой богомаз,
Лик намалюй мой в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
У идущего к слепым человека!

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Время послушалось и сделало, о чем он просил. Лик его вписан в божницу века. Но чем надо было обладать, чтобы это увидеть и угадать!

Или он говорит:

Вам ли понять, почему я, спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несую
к обеду идущих лет...
Нельзя отделаться от литургических параллелей.

«Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

В отличие от классиков, которым был важен смысл гимнов и молитв, от Пушкина, в «Отцах пустынножителей» пересказывавшего Ефрема Сирина, и от Алексея Толстого, переключавшего погребальные самогласны Дамаскина стихами{110}, Блоку, Маяковскому и Есенину куски церковных распева и чтений дороги в их буквальности, как отрывки живого быта, наряду с улицей, домом и любыми словами разговорной речи.

Эти залежи древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм. У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта.

Очень хорошо, что Маяковский и Есенин не обошли того, что знали и помнили с детства, что они подняли эти привычные пласты, воспользовались заключенной в них красотой и не оставили ее под спудом.

11

Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружилось непредвиденное техническое совпадение, сходное построение образов, сходство рифмовки. Я любил красоту и удачу его движений. Мне лучшего не требовалось. Чтобы не повторять его и не казаться его подражателем, я стал подавлять в себе задатки, с ним перекликавшиеся, героический тон, который в моем случае был бы фальшив, и стремление к эффектам. Это сузило мою манеру и ее очистило.

У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин, на арене народной революции и в сердцах людей – Сергей Есенин.

Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха.

Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоупотребления в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией создали особый, странный жанр, представляющий, под покровом банальности, запоздалый приход тургеневщины в поэзию.

Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобно свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью.

Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией.

Есенин к жизни своей отнесся как к сказке. Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то, как из карт, раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца. Самое драгоценное в нем – образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве. По сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже и обширнее. Место есенинской природы у него занимает лабиринт нынешнего большого города, где заблудилась и нравственно запуталась

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
одинокая современная душа, драматические положения которой, страстные и нечеловеческие, он рисует.

12

Как я уже сказал, нашу близость преувеличивали. Однажды, во время обострения наших разногласий, у Асеева, где мы с ним объяснялись, он с необычным мрачным юмором так определил наше несходство: «Ну что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я – в электрическом утюге».

Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компанейства, артельщины, подчинения голосу злободневности.

Еще непостижимее мне был журнал «Лев», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нем защищались. Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доводивший свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном{111} Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве или, во всяком случае, в момент его зарождения. А то испорченное поправками, разнообразными времени, нетворческое, ремесленное полуискусство, которое процветало в Лефе, не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать.

За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос», позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным.

Но по ошибке нас считали друзьями, и, например, Есенин в период недовольства имажинизмом просил меня помирить и свести его с Маяковским, полагая, что я наиболее подхожу для этой цели.

Хотя с Маяковским мы были на «вы», а с Есениным на «ты», мои встречи с последним были еще реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние.

13

В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало «Тихого Дона» было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабея, Федина и Всеволода Иванова, в эти годы Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне свободный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом и главной опорой.

Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников «Лефа» и о непринадлежности к их кругу, мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его.

Еще раньше, в годы, когда я еще находился под обаянием его огня, внутренней силы и его огромных творческих прав и возможностей, а он платил мне ответной теплотой, я сделал ему надпись на «Сестре моей, жизни» с такими среди прочих строками:

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим голландцем
Над краем любого стиха!
Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

14

Были две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее и

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.

Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен.

Три тени

1

В июле 1917 года меня, по совету Брюсова, разыскал Эренбург. Тогда я узнал этого умного писателя, человека противоположного мне склада, деятельного, незамкнутого.

Тогда начался большой приток возвращающихся из-за границы политических эмигрантов, людей, застигнутых на чужбине войной и там интернированных, и других. Приехал из Швейцарии Андрей Белый. Приехал Эренбург.

Эренбург расхваливал мне Цветаеву, показывал ее стихи. На одном сборном вечере в начале революции я присутствовал на ее чтении в числе других выступавших. В одну из зим военного коммунизма я заходил к ней с каким-то поручением, говорил незначительности, выслушивал пустяки в ответ. Цветаева не доходила до меня.

Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали.

Именно гармония цветаевских стихов, ясность их смысла, наличие одних достоинств и отсутствие недостатков служили мне препятствием, мешали понять, в чем их суть. Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты.

Я долго недооценивал Цветаеву, как по-разному недооценил многих – Багрицкого, Хлебникова, Мандельштама, Гумилева.

Я уже сказал, что среди молодежи, не умевшей изъясняться осмысленно, возводившей косноязычие в добродетель и оригинальной поневоле, только двое, Асеев и Цветаева, выражались по-человечески и писали классическим языком и стилем.

И вдруг оба отказались от своего умения. Асеева прельстил пример Хлебникова. С Цветаевой произошли собственные внутренние перемены. Но победить меня успела еще прежняя, преемственная Цветаева, до перерождения.

2

В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждения. Не возьму греха на душу, если скажу. За вычетом Анненского и Блока и с некоторыми ограничениями Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском.

Весной 1922 года, когда она была уже за границей, я в Москве купил маленькую книжечку ее «Верст». Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений.

Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее и так поздно узнал. Она ответила мне. Между нами

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru завязалась переписка, особенно участвовавшая в середине двадцатых годов, когда появилась ее «Ремесло» и в Москве стали известны в списках ее крупные по размаху и мысли, яркие, необычные по новизне «Поэма конца», «Поэма горы» и «Крысолов». Мы подружились.

Летом 1935 года я, сам не свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы, попал в Париж, на антифашистский конгресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой и как брата полюбил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека.

Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадает в пустоте, без отклика читателей.

Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и беспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения.

3

В начале этого вступительного очерка, на страницах, относящихся к детству, я давал реальные картины и сцены и описывал живые происшествия, а с середины перешел к обобщениям и стал ограничивать изложение беглыми характеристиками. Это пришлось сделать в интересах сжатости.

Если бы я стал рассказывать случай за случаем и положение за положением историю объединявших меня с Цветаевой стремлений и интересов, я далеко вышел бы из поставленных себе границ. Я должен был бы посвятить этому целую книгу, так много пережито было тогда совместного, менявшегося, радостного и трагического, всегда неожиданного и всегда, от раза к разу, обоюдно расширявшего кругозор.

Но и здесь, и в оставшихся главах я воздержусь от личного и частного и ограничусь существенным и общим.

Цветаева была женщиной с деятельной мужской душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех.

Кроме небольшого известного, она написала большое количество неизвестных у нас вещей, огромные бурные произведения, одни в стиле русских народных сказок, другие на мотивы общеизвестных исторических преданий и мифов.

Их опубликование будет большим торжеством и открытием для родной поэзии и сразу, в один прием, обогатит ее этим запоздалым и единовременным даром.

Я думаю, самый большой пересмотр и самое большое признание ожидают Цветаеву.

Мы были друзьями. У меня хранилось около ста писем от нее в ответ на мои. Несмотря на место, которое, как я раньше сказал, занимали в моей жизни потери и пропажи, нельзя было вообразить, каким бы образом могли когда-нибудь пропасть эти бережно хранимые драгоценные письма. Их погубила излишняя тщательность их хранения.

В годы войны и моих наездов к семье в эвакуацию одна сотрудница Музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой друг, предложила мне взять на сохранение эти письма вместе с письмами моих родителей и несколькими письмами Горького и Роллана. Все перечисленное она положила в сейф музея, а с письмами Цветаевой не расставалась, не выпуская их из рук и не доверяя прочности стенок несгораемого шкафа.

Она жила круглый год за городом и каждый вечер возила эти письма в ручном чемоданчике к себе на ночлег и привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении возвращалась к себе домой, на дачу. На полдороге от станции она в лесу спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой{112}.

4

На протяжении десятилетий, протекших с напечатания «Охранной грамоты», я много раз думал, что если бы пришлось переиздать ее, я приписал бы к ней главу о Кавказе и двух грузинских поэтах. Время шло, и надобности в других дополнениях не представлялось. Единственным пробелом оставалась эта недостающая глава. Сейчас я напишу ее.

Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женою поэт Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец.

Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе.

Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессианизма символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и, как в католической Польше, делающая каждого поэтом. Высокая культура передовой части общества, умственная жизнь, в такой степени в те годы уже редкая. Благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург, гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде настигающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки. Козлиное бляение вольники и каких-то других инструментов. Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов, кондитерских и кофеен.

5

Паоло Яшвили – замечательный поэт послесимволистического времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно напиханными в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит.

Первая мировая война застала Яшвили в Париже, студентом Сорбонны. Он кружным путем возвращался к себе на родину. На глухой норвежской станции Яшвили зазевался и не заметил, как ушел его поезд. Молодая норвежская чета, сельские хозяева, из глубины края на санях приехавшие на станцию за почтой, видели ротозейство жгучего южанина и его последствия. Они пожалели Яшвили и, неизвестно как объяснившись с ним, увезли к себе на ферму до следующего поезда, ожидавшегося только на другие сутки.

Яшвили чудно рассказывал. Он был прирожденный рассказчик приключений. С ним вечно происходили неожиданности в духе художественных новелл. Случайности так и льнули к нему, он имел на них дар, легкую руку.

Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо, так что он казался старше своих лет, человеком потрепанным, пожившим.

В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожаком которой он состоял. Я не помню, кто пришел тогда. Наверное, присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой.

6

Как сейчас, вижу эту комнату. Да и как бы я ее забыл? Я тогда же, в тот же вечер, не ведая, какие ужасы ее ждут, осторожно, чтобы она не разбилась, опустил ее на дно души вместе со всем тем страшным, что потом в ней и близ нее произошло.

Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Цветаевой должна была стать самым большим моим горем.

7

Если Яшвили весь был во внешнем, центробежном проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждую своей строкой, и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души.

Главное в его поэзии – чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру и способной к ясновидению и самопожертвованию.

Когда я думаю о Яшвили, городские положения приходят в голову, комнаты, споры, общественные выступления, искрометное красноречие Яшвили на ночных многолюдных пирушках.

Мысль о Табидзе наводит на стихию природы, в воображении встают сельские местности, приволье цветущей равнины, волны моря.

Плывут облака, и в один ряд с ними в отдалении строятся горы. И с ними сливается плотная и приземистая фигура улыбающегося поэта. У него немного подрагивающая походка. Он трясется всем телом, когда смеется. Вот он поднялся, стал боком к столу и постучал ножом о бокал, чтобы произнести речь. От привычки поднимать одно плечо выше другого он кажется немного кособоким.

Стоит дом в Коджорах на углу дорожного поворота. Дорога подымается вдоль его фасада, а потом, обогнув дом, идет мимо его задней стены. Всех идущих и едущих по дороге видно из дома дважды.

Это разгар времени, когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма упразднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи. Если мы не погибаем, это заслуга тифлисских друзей-чудотворцев, которые все время что-то достают и привозят и неизвестно подо что снабжают нас денежными ссудами от издательств.

Мы в сборе, делимся новостями, ужинаем, что-нибудь друг другу читаем. Вейные прохлады, точно пальчиками, быстро перебирает серебристую листвою тополя, бело-бархатную с изнанки. Воздух переполнен одуряющими ароматами юга. И, как передок любой повозки на шкворне, ночь в высоте медленно поворачивает весь кузов своей звездной колымаги. А по дороге идут и едут арбы и машины, и каждого видно из дома дважды.

Или мы на Военно-Грузинской дороге, или в Боржоме, или в Абастумане. Или после поездок, красот, приключений и возлияний мы кто с чем, а я с подбитым от падения глазом в Бакурианах, в гостях у Леонидзе, самобытнейшего поэта, больше всех связанного с тайнами языка, на котором он пишет, и потому меньше всех поддающегося переводу.

Ночное пиршество на траве в лесу, красавица хозяйка, две маленьких очаровательных дочки. На другой день неожиданный приход мествире, бродячего народного импровизатора, с вольной и величание экспромтом всего стола подряд, гостя за гостем, с подобающим каждому текстом и умением ухватиться за любой подвернувшийся повод для тоста, за мой подбитый глаз, например.

Или мы на море, в Кобулетах, дожди и штормы, и в одной гостинице с нами Симон Чиковани, будущий мастер яркого живописного образа, тогда еще совсем юный. И над линией всех гор и горизонтов голова идущего рядом со мной улыбающегося поэта, и светлые признаки его непомерного дара, и тень грусти и судьбы на его улыбке и лице. И если я еще раз прощусь с ним теперь на этих страницах, пусть будет это в его лице прощанием со всеми остальными воспоминаниями.

Заключение

Здесь кончается мой биографический очерк.

Продолжать его дальше было бы непомерно трудно. Соблюдая последовательность,

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
дальше пришлось бы говорить о годах, обстоятельствах, людях и судьбах, охваченных рамою революции.

О мире ранее неведомых целей и стремлений, задач и подвигов, новой сдержанности, новой строгости и новых испытаний, которые ставил этот мир человеческой личности, чести и гордости, трудолюбию и выносливости человека.

Вот он отступил в даль воспоминаний, этот единственный и подобия не имеющий мир, и высится на горизонте, как горы, видимые с поля, или как дымящийся в ночном зареве далекий большой город.

Писать о нем надо так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы.

Писать о нем затверженно и привычно, писать не ошеломляюще, писать бледнее, чем изображали Петербург Гоголь и Достоевский, – не только бессмысленно и бесцельно, писать так – низко и бессовестно.

Мы далеки еще от этого идеала.

Весна 1956, ноябрь 1957.

Примечания

1

В 1941 году поэту исполнился 51 год; он не подлежал призыву из-за перелома ноги, о чем сказано в «Людах и положениях», но проходил военную подготовку в части, расквартированной в поселке писателей Переделкино. Затем он был эвакуирован в город Чистополь и при первой же возможности совершил поездку в действующую армию (1943), итогом которой стали очерки «Освобожденный город», «Поездка в армию» и цикл «Стихи о войне», пополнивший поэтический сборник Пастернака «На ранних поездках» (1936–1944).

2

«Лгунья!» (фр.).

3

Ваш ребенок (фр.).

4

Об одобренных рекомендациях и о жестокостях... зверствах, как говорится по-русски (фр.).

5

Скажите снова... Начинайте (фр.).

6

Скажите (фр.).

7

Слышишь? (фр.).

8

Да, да – неслыханно, прелестно (фр.).

9

– Украл ли Петя яблоко?

– Да, Петя украл... и т. д. (фр.).

10

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Слушайте... завтра (фр.).

11
«Преждевременные роды» (лат.).

12
«Мне на праздник» (нем.).

13
Горе, забота (нем.).

14
Итак, милостивые государи... (нем.).

15
Опасаясь недоразумений, напомню. Я говорю не о материальном содержании искусства, не о сторонах его наполнения, а о смысле его явления, о его месте в жизни. Отдельные образы сами по себе – воззрительны и зиждутся на световой аналогии. Отдельные слова искусства, как и все понятия, живут познанием. Но не поддающееся цитированию слово всего искусства состоит в движении самого иносказанья, и это слово символически говорит о силе. (Примеч. Б. Пастернака).

16
Что такое апперцепция (восприятие психол.) (нем.).

17
«Стихи» (нем.).

18
2 франка 14 сантимов (нем. – фр.).

19
«Турецкий квартал! Немецкий квартал!» (ит.).

20
Как у Радецкого (фр.).

21
Даже ее прозвище произошло от победы, –
«Распространительница льва», которого сквозь огонь
и кровь она несла покоренной суше и морю.
(англ.; пер. Б. Пастернака).

22
Львиная пасть (ит.).

23
Быстро и гневно (ит.).

24
Каток для катания на роликовых коньках (от англ. skating-rink).

Комментарии
Пастернак Елены Владимировны и Пастернака Евгения Борисовича

1

Детство Люверс. – Альм. «Наши дни», кн. 1. М., 1922. Это начало романа, который Пастернак писал зимой 1917 – весной 1918 г. Летом 1918 г., давая работу на прочтение и отзыв Боброву, Пастернак писал о ней: «Перед тем как приступить к обработке существеннейшей второй и наименее существеннейшей третьей части, мне бы хотелось как-нибудь реализовать или, по крайности, заручиться видом на реализацию целого на основании переписанных $\frac{3}{4}$ первой части... Не знаю, надо ли делать это замечание: вторая и третья скрепленные порции (тетради) связаны воедино попыткой показать, как складывается в сознании момент абстрактный, к чему это впоследствии ведет и как отражается на характере. Тут это показано на идее третьего человека... Роман будет называться „Три имени“ или что-нибудь в этом духе» (ЦГАЛИ).

Через три года Пастернак пишет В. П. Полонскому, в то время редактору журн. «Печать и революция», что в противовес модернизму и новаторству «решил круто повернуть»: «Я решил, что буду писать, как пишут письма, не по-современному, раскрывая читателю все, что думаю и думаю ему сказать...»

В 1926–1927 гг. в предисловии к неосуществленному изданию перевода «Детства Люверс» на английский М. Горький высоко оценивал повесть: «Детство Люверс» – одно из первых произведений Пастернака в прозе. Оно написано так же, как стихи его, тем же богатым, капризным языком, изобилующим «перегруженностью образами», задорным и буйным языком юноши-романтика, который чувствует свое искусство более реальным, чем действительность, и с действительностью обращается как с «материалом»... Борис Пастернак, стремясь рассказать себя, взял из реального мира полурепбенка, девочку Люверс, и показывает, как эта девочка «осваивала» мир. На мой взгляд, он сделал это очень искусно, даже блестяще, во всяком случае – совершенно оригинально... мне кажется, что Пастернак умел сказать нечто свое и очень значительное. «Детство Люверс» может быть прочитано не только с интересом, но можно надеяться, что эта книга разбудит много хороших мыслей о маленьких людях, которых мы весьма беззаботно вводим в наш огромный, но все-таки тесный, шумный, но не очень веселый мир («Литературное наследство», т. 70. М., 1963, с. 309, 310).

2

Чусовая – приток Камы; по берегам реки расположены копи и горнодобывающие заводы.

3

Мотовилиха – заводской район Перми.

4

Уривни (уральск. диалект) – мелкие льдины.

5

Благодать – гора на восточном склоне Уральского хребта, богатая залежами железной руды.

6

Глень – влага, сок.

7

Обечайка – обод решета.

8

Полок – телега с плоским настилом для перевозки грузов.

9

Ведомости – газета.

10

Рубезок – тесьма.

11

Золотник, лот, фунт, пуд – меры веса.

12

Гран, драхма, скрупула, унция – меры жидких и сыпучих тел (аптекарский вес).

13

«Терек, прыгая, как львица // С косматой гривой на хребте...» – цитата из «Демона» М. Ю. Лермонтова.

14

Шкворень – болт, на котором ходит передок телеги.

15

Усекновение главы Иоанна Предтечи... – церковный праздник, связанный с евангельским преданием о казни Иоанна Крестителя, предшественника Иисуса Христа.

16

Введение во храм Богородицы – церковный праздник, отмечаемый 21 ноября (ст. ст.).

17

«Сказки Кота-Мурлыки», написанные в 1872 г. русским зоологом и писателем Н. П. Вагнером (1829–1907), пользовались большим успехом у детей и взрослых.

18

«Север» – литературно-художественный журнал, издававшийся в Петербурге в 1888–1894 гг.

19

Охранная грамота. – «Звезда», 1929, № 8 (часть первая); «Красная новь», 1931, № 4, 5–6 (части вторая и третья); полностью – Пастернак Борис. Охранная грамота. Л., 1931.

Начата в 1927 г. как статья об австрийском поэте Райнере Марии Рильке (1875–1926), 11 февраля 1928 г. в журн. «Читатель и писатель» (№ 4–5) Пастернак писал: «В феврале 1926 года я узнал, что величайший немецкий поэт и мой любимый учитель Райнер Мария Рильке знает о моем существовании, и это дало мне повод написать ему, чем я ему обязан... Я обещал себе по окончании „Лейтенанта Шмидта“ свидание с немецким поэтом, и это подстегивало и все время поддерживало меня. Однако мечте не суждено было сбыться – он скончался в декабре того же года... Тогда ближайшей моей заботой стало рассказать об этом удивительном лирике и об особом мире, который, как у всякого настоящего поэта, составляют его произведения. Между тем под руками, в последовательности исполнения, задуманная статья превратилась у меня в автобиографические отрывки о том, как складывались мои представления об искусстве и в чем они коренятся. Этой работе, которую я посвящаю его памяти, я не придумал еще заглавия. Я ее еще не кончил».

Вторая и третья части были написаны после двухлетнего перерыва в 1930–1931 гг. Последняя, третья, часть повести писалась под свежим впечатлением трагической гибели Маяковского. Через год – 14 апреля 1931 г. «Литературная газета» напечатала отрывок из этой части, озаглавленный («Первые встречи с Маяковским»). Сохранился автограф второй и третьей частей повести и две последовательные перепечатки всего текста на машинке. Окончательный авторский текст хранится в

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
фонде ГИХЛ (ЦГЛЛИ).

В архиве («Звезды» (ИРЛИ)) сохранилась наборная беловая машинопись первой части («Охранной грамоты» (см. («Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год». Л., 1979, с. 194)).

При подготовке отдельного издания «Охранной грамоты» в 1931 г. были дополнительно сделаны некоторые исправления. Наиболее существенные варианты журнальной публикации и наборной машинописи см.: «Воздушные пути», 1982, с. 478–479.

Автограф заканчивается «Послесловьем» – посмертным письмом к Рильке. Его текст входил также и в первую машинописную копию с следующей припиской: «NB: Послесловье предполагал закончить. Остается недописанным, потому что упраздняется целиком и для печати не предназначается». Его текст приводится в кн. «Воздушные пути», 1982, с. 479–481.

20

Повесть посвящена памяти Рильке. Отношения Бориса Пастернака к Рильке основывались на безграничном восхищении его творчеством, воспоминании о мимолетной встрече на вокзале в мае 1900 г. и нескольких попытках перевода его стихов. Отец Б. Пастернака был знаком с Рильке с 1899 г. и переписывался с ним. В ответ на поздравление с 50-летием Рильке написал Л. О. Пастернаку в Берлин, что недавно читал стихи его сына. Борис Пастернак пережил это известие как сильнейшее потрясение. В своем письме к Рильке 12 апреля 1926 г. вместе со словами любви и признательности Пастернак представляет Рильке М. И. Цветаеву и просит ответить ему на ее адрес в Париже. Рильке мгновенно отозвался, взволнованный «щедростью сердца», отведшего ему «столь значительное место в своем духовном мире» (3 мая 1926 г.). Тут же началась активная переписка Рильке с Цветаевой, длившаяся 4 месяца (29 декабря 1926 г. Рильке скончался).

Встреча Б. Пастернака с Рильке описана также в кн. Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., 1975.

21

Перед самой отправкой... подходит кто-то в черной тирольской разлеталке. С ним высокая женщина. – В середине мая 1900 г. Рильке со своей спутницей Лу Андреас Саломе направлялись в Тулу к Л. Н. Толстому. О времени, когда Толстой будет в Ясной Поляне, известил их Л. О. Пастернак.

22

Козлова Засака – ближайшая к Ясной Поляне станция железной дороги.

23

...им к Софье Андреевне... – к С. А. Толстой, жене Л. Н. Толстого.

24

Николай Николаевич Ге (1831–1894) – художник, друг Толстого. Во время приездов в Москву он часто бывал у Пастернаков.

25

...напоминавшем «шестое чувство» Гумилева... – «Шестое чувство» – стихотворение Н. С. Гумилева (1886–1921) из кн. «Огненный столп» (1921). «Шестым чувством» он называл чувство прекрасного.

26

Линней Карл (1707–1778) – шведский естествоиспытатель, создатель классификации растений и животных, автор «Системы природы» (1735) и «Философии ботаники» (1751).

детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

27

...отряд дагомейских амазонок... – Дагомея (Бенин) – государство в Западной Африке, с XV в. крупный центр работорговли.

28

...перед отъездом в Италию он заходит к нам прощаться. – А. Н. Скрябин (1871/72–1915) уехал в Италию в феврале 1904 г., вернулся – в феврале 1909 г.

29

...несколько серьезных работ. – Сохранились соната для фортепьяно (издана в 1979 г.) и две прелюдии.

30

Миф о Ганимеде повествует о похищении Зевсом, превратившемся в орла, мальчика Ганимеда. Он был вознесен на Олимп и сделан виночерпием богов (греч. миф.) (см. с. 33. т. 1 наст. изд.).

31

...переводы из Демеля... – Демель Рихард (1863–1920), немецкий поэт, сочетавший в своем творчестве мотивы неприятия действительности с утонченно-интеллектуальным лиризмом и болезненным психологизмом.

32

«Мусагет» – издательство символистов. О кружках при нем см. на с. 246 наст. т.

33

От других я узнал о существовании Марбурга. Канта и Гегеля сменили Коген, Наторп и Платон. – В Марбурге, немецком университетском городе, читали лекции Герман Коген (1842–1918), глава марбургской школы неокантианства, и его последователь Пауль Наторп (1854–1924), который в работах по истории античной философии сближал учение Платона с трансцендентальным методом Канта и марбургской школы.

34

Деметра (букв.: «земля-мать») – богиня плодородия и земледелия, изображается скорбящей матерью, потерявшей дочь, похищенную Аидом (греч. миф.).

35

Бергсон Анри (1859–1941) – французский философ, сторонник интуитивизма и философии жизни.

36

Гуссерль Эдмунд (1859–1938) – немецкий философ, основатель феноменологии, преподавал в Геттингенском университете.

37

Шпет Г. Г. (1879–1940) – русский философ, автор трудов по философии языка, эстетике, истории философии, переводчик «Феноменологии духа» Г. Гегеля.

38

Лейбниц Г.-В. (1646–1716) – немецкий философ, математик, физик, языковед.

39

Ланге Ф.-А. (1828–1875) – немецкий философ неокантианец и экономист.

40

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Бернулли – семья швейцарских ученых, давшая знаменитых математиков (XVII–XVIII вв.).

41

Иногда горизонт расширялся как в «Страшной мести»... – Имеются в виду строки из повести Н. В. Гоголя: «Вдруг стало видимо далеко во все концы света...»; они были взяты эпиграфом к стихотворению «Распад».

42

Елизавета Венгерская (1207–1231) – дочь венгерского короля Андрея II, жена тюрингенского ландграфа Людвига, была изгнана из своих владений после смерти мужа, последовала за своим духовником Конрадом в Марбург (см. также с. 161).

43

«Посредник» – просветительское издательство (1884–1935), основанное по инициативе Л. Н. Толстого.

44

Маклорен Колин (1698–1746) – шотландский математик.

45

Максвелл Д.-К. (1831–1879) – английский физик.

46

М. В. Ломоносов в 1736 г. был отправлен в Германию, около трех лет пробыл в Марбурге, где под руководством последователя Лейбница Христиана Вольфа (1679–1754) занимался математикой, физикой и химией.

47

Декарт Рене (1596–1650) – французский философ, математик, физик и физиолог.

48

Ганс Сакс (1494–1576) – немецкий поэт-мейстерзингер.

49

Савиньи Ф.-К. (1779–1861) – немецкий юрист, глава исторической школы права.

50

Г-в и Л-ц – молодые философы М. П. Горбунков и Г. Э. Ланц.

51

Штаммлер Рудольф (1856–1938) – немецкий теоретик права, последователь марбургской школы неокантианства.

52

«Критика практического разума» (1788) – работа И. Канта.

53

Елисейские поля (Элизиум) – обитель бессмертия, где блаженствуют герои – любимцы богов (греч. миф.).

54

Сестры В-е – Ида и Елена Высоцкие.

55

Абеляр Пьер (1079–1142) – французский философ, богослов и поэт. В «Истории моих бедствий» описывается трагедия его любви к своей ученице Элоизе.

56

Эвклид (III в. до н. э.) – древнегреческий математик; положил начало систематическому изложению геометрии.

57

В «Крейцеровой сонате» Толстой выступает за чистоту и целомудрие в отношениях между мужчиной и женщиной.

58

Ведекинд Франк (1864–1918) – немецкий писатель, предшественник экспрессионизма. В драмах («Пробуждение весны» и др.) критиковал традиционную буржуазную мораль.

59

Фридрицианский стиль – по имени Фридриха II (1712–1786), прусского короля и крупного полководца.

60

Шанцы – окопы.

61

Экзерцирплац – место строевых занятий.

62

Это был период Рурской оккупации. – По Версальскому мирному договору 1919 г. был установлен временный оккупационный режим главной промышленной области Германии – Рурского бассейна.

63

...Микеланджелова ночь... – Речь идет о скульптуре Микеланджело на гробнице итальянского поэта и правителя Флоренции (с 1469 г.) Лоренцо Медичи.

64

Прерафаэлиты – группа английских художников и писателей XIX в., поклонявшихся искусству средних веков и Раннего Возрождения (до Рафаэля).

65

Вендрамин, Гримани, Корнер, Фоскари, Лоредан – дворцы по берегам Большого канала.

66

Риальто – мраморный мост через Большой канал.

67

...с усами à la Radetzki. – Радецкий Йозеф (1766–1858), граф, австрийский фельдмаршал, генерал-губернатор австрийских владений в Сев. Италии; подавил революцию 1848–1849 г. в Италии.

68

Пьяцца – площадь Сан-Марко, ограниченная с восточной стороны собором Сан-Марко, отдельно стоящей колокольней (кампанила) и Дворцом дождей. К площади примыкает

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
пьяцетта.

69

Карпаччо Витторе (ок. 1455 – ок. 1526) и Беллини Джованни (ок. 1430–1516) – итальянские живописцы венецианской школы Раннего Возрождения, творчество которых отмечено гармонией колорита и поэтичностью.

70

Веронезе Паоло (1528–1588) и Тициан Вечеллио (1476/77 или 1489/90–1576) – итальянские живописцы венецианской школы Высокого Возрождения, для произведений которых характерно обостренное ощущение красоты жизни, чувственности.

71

Тинторетто Якопо (1518–1594) – итальянский живописец венецианской школы Позднего Возрождения, чьи произведения насыщены динамикой, мятежным духом социального протеста.

72

Эпизод с папой Юлием Вторым, осматривающим плафон Сикстинской капеллы, приведен в кн. «Переписка Микель-Анджело Буонаротти и жизнь мастера», написанной его учеником Асканио Кондиви.

73

Савонарола Джираламо (1452–1498) – настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Выступал против тирании Медичи, призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру.

74

Карл I (1600–1649) – английский король из династии Стюартов, проводил феодально-абсолютистскую политику; казнен в ходе буржуазной революции XVII в. Генриетта-Мария – жена Карла I, имевшая на него громадное влияние.

75

Людовик XVI (1754–1793) – французский король. Осужден Конвентом и казнен.

76

Мария-Антуанетта (1755–1793) – французская королева, жена Людовика XVI, вдохновительница контрреволюционных заговоров. По решению суда была казнена.

77

Александра Федоровна (1872–1918) – императрица, жена Николая II. Находилась под влиянием религиозных мракобесов и авантюристов (Распутина и др.).

78

Распутин Г. Е. (1872–1916) – крестьянин Тобольской губ., фаворит Николая II и его жены. В качестве «провидца» и «исцелителя» приобрел неограниченное влияние на царя и царицу. Убит монархистами.

79

Серов В. А. (1865–1911) – живописец и график, профессор живописи в Училище живописи, ваяния и зодчества; сделал серию заказных портретов царской семьи.

80

Касаткин Н. А. (1859–1930) – живописец, в то время преподаватель Училища живописи, ваяния и зодчества. Его сын гимназист пропал во время уличных боев в 1905 г. и считался погибшим.

81

В сб. «Садок судей, II» в 1913 г. напечатаны первые стихи В. Маяковского «Уличное» и «Порт».

82

...они нас однажды задели... – В «Первом журнале русских футуристов» (1914), в котором печатались К. А. Большаков, В. Г. Шершеневич и В. В. Маяковский, содержались резкие выпады против членов «Центрифуги». Бобров в сб. «Руконог» ответил грубостью, что было поводом для требования личной встречи с «обидчиками».

83

Он пришел бы от сестер С. ... – Синяковых. На одной из них – Ксении Михайловне Асеев вскоре женился.

84

...сын Шестова... – Сын философа и писателя Л. И. Шестова – С. Л. Листопад, погиб в 1916 г.

85

Орфизм – религиозно-мистическое течение в Древней Греции (IV в. до н. э.), происхождение которого связано с реформой культа Диониса и введением очистительных обрядов.

86

Корниловский мятеж – 25–31 августа 1917 г.

87

...в доме стихотворца-любителя А. – Встреча у Амари (М. О. Цетлин) состоялась в январе 1918 г.

88

...издавали «Современник»... – Речь идет о пушкинском «Современнике». До гибели поэта вышло 4 книги.

89

Ольга Силлова (О. Г. Петровская) – поэт, критик, переводчик.

90

...Ко мне подошли Я. Черняк и Ромадин... С ними была Женя. – Критик, историк литературы Я. З. Черняк, художник П. Н. Ромадин и Е. В. Пастернак, жена писателя.

91

Л. А. Г. – Л. А. Гринкруг, знакомый Маяковского.

92

Люди и положения. – «Мнатоби», 1956, № 11–12 (перев. на груз. Г. Маргвелашвили); «Новый мир», 1967, № 1. Очерк написан в мае – июне 1956 г. как предисловие к сборнику стихотворений. Первоначальное название: «Вместо предисловия». В «Заключении» Пастернак писал:

«Здесь кончается мой вступительный очерк. Я не обрываю его, оставив недописанным, а ставлю точку именно там, где с самого начала задумал. Я совсем не собирался писать историю пятидесятилетия во многих томах и лицах.

Я не распространил разбора на Мартынова, Заболоцкого, Сельвинского, Тихонова, хороших поэтов. Я ни словом не упомянул о поэтах поколения Симонова и Твардовского, таких многочисленных.

Я шел из центра теснейшего жизненного круга, намеренно себя им ограничив.

Написанного тут достаточно, чтобы дать понятие о том, как в моем отдельном случае жизнь переходила в художественное претворение, как оно рождалось из судьбы и опыта».

93

Пастернак неточно называет дом Лыжина в Оружейном переулке местом своего рождения. Он родился в доме Веденева (между 2-й и 3-й Тверскими-Ямскими ул.). В дом Лыжина (он не сохранился) семья переехала осенью 1891 г.

94

Музыкальный вечер 23 ноября 1894 г. был устроен на квартире у Пастернаков спустя полгода после смерти художника Н. Н. Ге, близкого друга Л. Н. Толстого и Л. О. Пастернака. О дружеском расположении, Ге к маленькому Боре Пастернаку написано в воспоминаниях А. К. Гладкова: «Я знал Ге, – рассказывал Пастернак, – когда был мальчиком. Он даже иногда говорил, что у него есть только два настоящих друга: Лев Николаевич Толстой и я» (Гладков А. К. Театр. М., 1980, с. 407). См. также: Пастернак Л. О. Записи разных лет. М., 1975, с. 142.

95

То была, кажется, зима двух кончин – смерти Антона Рубинштейна и Чайковского. – А. Г. Рубинштейн умер не в 1893 г., как Чайковский, а на год позже – 8(20) ноября 1894 г.

96

Трио П. И. Чайковского «Памяти великого художника» (1881–1882).

97

...профессора Чаплыгина... – Имеется в виду В. М. Чаплин, известный инженер по отоплению и канализации.

98

...нащупывали его слоги, его гласные и согласные... – Работа Андрея Белого (1880–1934) «Глоссалолия» (поэма о звуке), импровизация на звуковые темы. В. Хлебников (1885–1922) был автором ряда статей о языке: «Учитель и ученик», «Разложение слова», «О простых именах языка», «Перечень. Азбука ума» и др.

99

...на старом моцартовско-фильдовском языке... – В.-А. Моцарт (1756–1791) – австрийский композитор, достигший в своей музыке высочайшей психологической проникновенности, изящества и мелодичности. Джон Филд (Фильд; 1782–1837) – ирландский композитор, родоначальник ноктюрна, создатель поэтического стиля пианизма.

100

...Блоку под видом критической неподкупности готовят бенефис, разнос... – Блок приезжал в Москву 2–10 мая 1921 г.; 3, 5 и 9 мая выступал в Политехническом музее; 7 мая – в Доме печати и Итальянской студии (Катанян В. Маяковский. Литературная хроника. М., 1961). С критикой в Доме печати выступил А. Ф. Струве, зав. литературным отделом Мосгубпролеткульта (ВЛ. 1980. № 10).

101

Есть отзыв Блока об этом переводе... – Блок входил в редакционную коллегию

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
экспертов «Всемирной литературы». Его отзыв о пастернаковском переводе
«Посвящения» к поэме Гете «Тайны» см.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. VI,
с. 468–469.

102

Доклад «Символизм и бессмертие» читался в мастерской у Крахта 10 февраля 1913 г.

103

Мы быстро собрались и отправились на Павелецкий вокзал... – Поездка в Астапово на похороны Толстого состоялась 8 ноября 1910 г.

104

...пишет огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина. – Имеется в виду работа П. Е. Щеголева (1877–1931) «Дуэль и смерть Пушкина» (1916).

105

...в виде писательского приема. – Пастернак полемизирует с В. Шкловским («Заметки о прозе русских классиков». М., 1955), который называет «праздничное видение мира» у Толстого «своеобразным приемом художественного раскрытия действительности, ее познания»: «Употребление слова в его общенародном, а не в условном значении у Толстого наиболее сильное средство поэтического раскрытия действительности».

106

Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, «Подорожник». – Сб. «Подорожник» вышел в 1921 г. Из контекста следует, что речь идет о сб. «Вечер» (1912): «Вечер в двух видах заключался в ней...» и т. д.

107

...в разрыве Боброва с ними. – В январе 1914 г. Асеев, Бобров и Пастернак объявили о ликвидации книгоиздательства «Лирика», в котором только что при финансовой поддержке Ю. Анисимова и В. Станевич вышли их первые книги.

108

Журнал «Современник» издавался под редакцией Н. Суханова (Н. Н. Гиммер), при участии А. М. Горького. Письмо Пастернака Горькому по поводу правки комедии не найдено.

109

С их стороны предполагались Третьяков и Шершеневич. – Третьяков назван ошибочно вместо К. А. Большакова.

110

...и от Алексея Толстого, перекладывавшего погребальные самогласны Дамаскина стихами... – Имеется в виду поэма А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин».

111

Платон, греческий философ (V–IV вв. до н. э.), в трактате «Государство» рисует возможность осуществления справедливого общества. По мысли Платона, художники и поэты исключаются из идеального государства.

112 Так уехали и пропали письма Цветаевой. – Письма были потеряны в процессе их копирования А. Е. Крученых. Сохранились дефектные перепечатки 22 писем 1922–1926 гг.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

Детство Люверс. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши [buckshee](http://buckshee.ru). Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!